

Чингиз Айтматов

ПОВЕСТИ

Чингиз Айтматов

ПОВЕСТИ

Перевод с киргизского



МОСКВА
«Художественная литература»
1979

С(Кирг) 2
А 36

Текст печатается по изданию:

Чингиз Айтматов. Повести.
М., Изд-во «Детская литература», 1976.

А $\frac{70303\text{-}447}{028(01)\text{-}79}$ БЗ-37-13-79

Оформление.
Издательство
«Художественная
литература», 1979 г.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю... И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе,— просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

Наш аил Куркуреу́ расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад через равнину.

А над аилом на бугре стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить,— то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника,— но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугор к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре

кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка...

В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.

Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали насколько хватал глаз и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше

есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» — ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя, воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называется «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен! Да тот

самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была — название одно! Ох и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя, тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось...»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом[1] и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень[2], и конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому

[1] Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.

[2] Кетмень — сельскохозяйственное орудие типа мотыги.

же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так...

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил ехать. Не мог же я в такой радостный день для нашего аила усидеть дома! Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками.

Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить,— невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна.— Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

...Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно было уже начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверное, всегда и с радостью и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало и она все пыталась скрыть непрошеные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности — очень интересный и веселый, после которого директор

школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да, — ответил парень. — Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Я его звал, агай[1], но он уехал, ему еще надо письма развозить.

— Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит,— недовольно проговорил кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя — на Украине это было — и остался там жить, всего лет пять, как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет...

— А все-таки зайти бы ему сейчас... Ну да ладно.— И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена.— Один из почтеннейших людей аила поднял бокал.— А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита.— Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

— А ведь и правда, было так,— отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить! Чего только не затевал тогда Дюйшен! А мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:

— Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю

[1] Агай — почтительное обращение к старшему (букв.: старший брат).

страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу; одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени.

Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета,— сказал я ей.

— И я об этом же думаю,— вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядшему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на топо-

ля как-то очень по-женски горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестакт-

ным, — просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила всё отложить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам — это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте...»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков — джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам»,— но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание

верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок,— начал он заикающейся скороговоркой,— раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой?

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец,— быстро отозвался Дюйшен.— А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну, это дело...

— Молодец!— раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу — с вашей помощью, конечно,— вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговору, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы.

— Ты постой, парень,— проговорил Сатымкул, прищуривая глаза, словно бы прицеливаясь.— Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как — зачем?— растерялся Дюйшен.

— А верно ведь!— подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса приутихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились?— спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой.

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах.

Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.

— Мы бедняки,— уже тихо проговорил Дюйшен.— Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей...

Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что... Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий!— оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек! Разве что чужие табуны угонять... Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— А-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. — Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаза, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! (И я кинулась догонять ребят.) Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой кура́я или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это, никак, учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга! Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал? Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.

— А послушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, и все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам.

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам

ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму заготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелим побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решилась ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить,— сказала я.

— Ну почему же не отпустит, отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай,— ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя.— Он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело.— Ты чья будешь?

Я промолчала: не любила, когда меня жалели.

— Сирота она, у дяди живет,— подсказали подруги.

— Так вот, Алтынай,— снова улыбнулся мне Дюйшен,— ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой,— застеснялись мы.

— Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел

в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки!— крикнула я своим подругам.— Давайте высыплем кизяки в школе — все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я в первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала коекак полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными,

безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала?— подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону.— И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе!— Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове.— Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между про-

чим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет,— к ним мне было не привыкать,— я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас!— шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя — тот даже головы из ямы не поднял.

Это не смутило Дюйшена. Он деловито

опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу.

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся сжалась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И, как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка. — Ей не до учебы! Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов! У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, Советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка. — Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы

голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эй, баба!— гаркнул он, выбираясь из ямы.— С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь — учи, хочешь — изжарь ее. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я?— заголосила было тетка.

Но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы в первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать,— объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин!— сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука

его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой, плакатной бумаге,— он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры,—говорил Дюйшен.— Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело! Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир...

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулие-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю,

было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул: ему было неловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знание.

Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им,— все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на зем-

ле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу — ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа.

— Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. И Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мостик через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным

упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом ступала по дну, казалось усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться и начала медленно валиться в воду.

Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.

— Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся,— приговаривал Дюйшен.— Я и сам справлюсь...

Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся.

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так!— И, помолчав, спросил:— Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?

— Да,— ответила я.

Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»

Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, и Дюйшен понял мою радость.

— Ручеек ты мой светлый,— сказал он, ласково гладя меня.— И способности у тебя хорошие... Эх, если бы я мог послать тебя в большой город! Каким бы ты человеком стала!

Дюйшен порывисто шагнул к берегу.

И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чем он думал тогда? Может быть, и правда в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею, и крепко обнять его, и, зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.

В один из таких студеных дней — это бы-

ло, как теперь помню, в конце января — Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли: почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, за мной все остальные. И в этот раз у подножия бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины — и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого: мы взбирались гуськом на бугор — под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше — в белом мутном небе — темнела одинокая черная туча.

Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.

— Встаньте,— приказал он.

Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

— Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур,— в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в не ведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на перевязи все так же смотрел на нас со стены и все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого челове-

ка, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз... Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю...

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому еще залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истошным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову: чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель! Мы ждем тебя!»

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила

себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли?— все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло.— Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой...

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно, я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу ты негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет,— отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки.— Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал.

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клоч-

ка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов.

Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой раздался над землей и застыл где-то в воздухе.

Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели.

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий.— Картанбай всполошился, ища в темноте шубу.— Свет, свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!

Дрожа от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее,

яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, окаянные!— вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье!— выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье!— повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечах Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома.— Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу[1].— Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, она доскака-

[1] Камча — нагайка, плеть.

ла до аила и рухнула как сноп. Там они и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну,— суетился Картанбай.— А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть.

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня,— ответил Дюйшен.— Завтра с утра начнем заниматься.

— Эх, дурень!— даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой.— Ты послушай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим сoплякам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

— Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите: обычно пешком ходил, а тут черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение...

— Да не о том речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай.— Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять Советская власть — наживу еще...

— Дело говоришь, старик,— отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал.— Наживем еще... На-ка, сынок, хлебай, пока горячее...

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышлеными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет...

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил...

— Да, к слову...— перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы с тобой его не оплакивали, все без пользы. Так

я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям.

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел он от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем...

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи во дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет,— сказала Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо.— Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испуга-

лась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну, глянь на меня...

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да, никак, сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы.— А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стоя-

ла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты... Нашла себе забаву — в школу ходить... Но погоди, я тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то близко к сердцу принимала теткины угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка,— смеялся Дюйшен.— Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколько не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда

я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошме скатерти сидел как пень краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась

в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька,— сказала она,— там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало неспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой»,— решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы все гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня:

— Постой, Алтынай.— Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.— Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь

до меня дошло, что собиралась сделать со мной тетка.

— Я сам за тебя отвечу,— сказал Дюйшен.— А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он.— Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе.— Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся.— Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез? Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, говорит, пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе, как одной овцой, не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. «Ты, говорит, подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной что захотят, и никто в аиле не запре-

тит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело,— сообщил он, загадочно улыбаясь.— Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная...

Деревца были ростом с меня, молоденькие, сизоствольные топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались...

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад.— А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда

и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди...

Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким... Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было...

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшен, оказывается, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход,— сказал он, когда мы возвращались в аил.— Послезавтра я поеду в волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет,— ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой, город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились, замерли.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом,— быстро сказал Дюйшен.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей улыбкой на лице. Дюйшен подошел к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй ты, бездомная! — Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого! — твердо и спокойно сказал Дюйшен.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешились с коней еще двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами! А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я ж говорила! — взвизгнула тетка. — Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, замахиваясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с красноrожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Красноrожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове.

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец...

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее,

отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных петухов, сторожививших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону... О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее, — приказал красножий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, корявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — все равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их

взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна...

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания — так же, как мой учитель Дюйшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопения, беспро-

будного храпа, только бы не оставаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токóл — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его! Что может быть унизительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на новое стойбище, а затем на все лето в глубину гор за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе — бежать оттуда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так

и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем... Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, а ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его ей помочь собираться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и — оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва, я не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опороченная...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с красноророжего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов.

Дюйшен схватил его за шиворот, тряхнул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами. — Теперь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!..

Краснорожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом.

Когда мы двинулись, сзади раздался дикий, нечеловеческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истошным голосом. — За черные дни мои, душегуб! Не отпущу тебя живым!

Наверно, сорок лет не поднимала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливого согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятия:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле, чтоб ворон выклевал твои глаза. Не при-

веди господь увидеть тебя еще раз! Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь, сгинь! — прокричала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развевающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее.

Как после кошмарного сна, гудело у меня в голове. Пришибленная, угнетенная, ехала я на коне. Дюйшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюйшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня,— сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке.— Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем,— сказал он наконец.— Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся.— Он достал из кармана кусочек мыла.— На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься, искупай-

ся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый, брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собою всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода!— шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было

начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке, они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка,— сказал он,— светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-чего понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед...

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах! Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала: такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя,— сказал он.— Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты ста-

нешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься... Пусть будет так, пусть будет так...

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь,— дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку. — Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить: слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай. — Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай попрощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб. — Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на перевязи и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни... Прощай, учитель, прощай, моя первая школа, прощай, детство, прощай, моя первая, никому не высказанная любовь...

...Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступать. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь иные причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору...

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые аилы, распахано много полей, построены новые дороги и мосты,— но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла «учителем», просто по имени.

— Дюйшен!— прошептала я.— Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал... Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну, тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизоствольными деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляют в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножия деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся светлая вода в полном арыке чуть рябила, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашеная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки; солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что сталось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб,— предполагали они,— время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель, — думала я временами. — Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками

из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтовик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход: проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте!— крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины, кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и, так же ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочни-

ка, к Дюйшену. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель!— крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы?— участливо спросил он по-казахски.— Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастная, мужа или брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому,— пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну...— ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем,— сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально

звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками,— это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я как-то отдалилась от него.

Бывают такие родники в горах: пролажет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутненная прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... И подумает тот человек, что грех не знать такие места, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз и в жизни бывает.

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того, как побывала в аиле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самой себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин?.. И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в аиле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркуреу и предложить там людям назвать новую школу-интернат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду...

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного... Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так

каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко, и сидит на ветке тополя, и смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких

конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз! Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.

1962 год

ДЖАМИЛЯ

Сверстникам моим, выросшим в шинелях отцов и старших братьев.

Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.

Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней.

В глубине картины — край осеннего поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане — красно-бурая полынная степь. И дорога черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг — и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегаю немного вперед.

Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда еще подростки лет по пятнадцать, работали в колхозе. Тяжелый повседневный мужицкий труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в поле, на току или в пути на станцию, куда свозили зерно.

В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.

Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом[1]. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам — из Большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.

Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером.

Дома оставались мать и сестренка.

В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями,

---

[1] Дувал — глинобитная ограда.

но я называю их близкими потому, что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в междуречье,— наши одноплеменники, все мы из одного рода.

Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового ада́та, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя выпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков — ведь он доводился покойному самым близким родственником.

Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили вместе.

Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма — правда, с большими перерывами.

В Малом доме остались мать, которую я называл «кичи́-апа́» — младшей матерью, и ее невестка — жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или поливы,— словом,

прочно держала в руках кетмень. Судьба, словно в награду, послала ей работящую невестку. Джамиля была под стать матери — неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная.

Я горячо любил Джамилю. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля. Но я называл ее «дженé» как жену старшего брата, а она меня «кичинé балá» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в аилах: невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов; это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо; это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.

Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтила их память, управляя семьями по всей справедливости. В аиле с ней считались как с самой почтенной, совестливой и умудренной опытом хозяйкой.

Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э-э, да ты лучше не иди к устаке — так у нас почтительно называют мастеровых людей,— он только и знает, что свой топор. У них старшая мать всему голова — вот к ней и иди, так оно вернее будет...»

Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгает и пилит.

Так вот, я остановил бричку возле дома в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Орозма́та. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери:

— Не быть этому! Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, милый, оставь мою невестку в покое, пусть она работатет, как работала. И так света белого не вижу, ну-ка, попробуй управься в двух дворах! Ладно еще, дочка подросла... Уж неделю разогнуться не могу,

поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится — воды ждет! — запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась.

— Ну что вы за человек! — проговорил в отчаянии Орозмат, покачнувшись в седле.— Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где взять мужчин-то?.. Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас начальство последними словами кроет... Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так, куда это годится?

Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и, когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался — видно, его осенила какая-то мысль.

— Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни,— с радостью указал он на меня,— никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки — кормильцы наши, только они и выручают...

Мать не дала бригадиру договорить.

— Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты! — запричитала она.— А волосы-то, зарос весь космами... Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сына время никак не найдет...

— Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову побреет,— ловко подхватил Орозмат в тон матери.— Сеит,

оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь, байбиче[1], Сеит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы ж его знаете: безобидный такой малый... ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить, кто ж посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты как думаешь? Вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается,— уговори ты ее.

Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:

— Ничего ей не сделается. Что, ее волки съедят, что ли?

И, как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.

— Ишь ты!— изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула:— Я вот тебе покажу волков, тебе-то откуда знать, умник какой нашелся!

— А кому же знать, как не ему, он у нас джигит двух семейств, гордиться можете!— вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать, как бы она опять не заупрямилась.

---

[1] Байбиче — уважительное обращение к женщине.

Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув:

— Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе... Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище...

Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить туда хлеб.

Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а вели спокойный негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей.

Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой иноходью.

Ни мать, ни я не подозревали, чем все это кончится.

Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с пароконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамиля — дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.

Не знаю, чем объяснить, может быть, оттого, что Джамиля с детства гоняла с отцом табуны — она у него была одна, и за дочь и за сына,— но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамиля напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.

Соседи не раз приходили жаловаться:

— Что это у вас за невестка такая? Без году неделя как переступила порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!

— Вот и хорошо, что она такая!— отвечала на это мать.— Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони — что протухшие яйца: снаружи чисто и гладко, а внутри — нос заткни.

Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамилей с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного — чтобы она была верна богу и мужу.

Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, в Джамиле, единственной невестке двух дворов, они находили утешение и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный, суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения.

А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.

Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее

такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага.

— Благодари аллаха, дочь моя,— поучала мать Джамилю,— ты пришла в крепкий, благословенный дом. Это твое счастье. Женское счастье — детей рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все, что нажили мы, старики,— в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье — оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя!..

Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.

А еще любила Джамиля петь, она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в аиле представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамили никого не было на свете. Нам было вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору.

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло

ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые аильные куплеты, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск.

Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшиеся домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, что как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступиться за нее!»

В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту, встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел.

Парни прыскали со смеху.

— Ой, ты только погляди на него! Да, никак, она его джене, вот потеха-то, а мы и не знали!

Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.

— А вы думали, что джене на дороге валяются? — приосанившись, говорила она

джигитам.— Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни мой, ну вас!— И, красуясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову, вызывающе поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.

И досаду и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите — не уследите!» Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга.

В те дни в аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно: чего, мол, с ними канителиться, только помани пальцем — любая побежит.

Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени.

— Отстань!— проговорила она с болью и отвернулась.— Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные.

Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы.

— Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит... Чего ломаешься, небось

самой до смерти хочется, а тоже — нос воротишь.

Джамиля резко обернулась.

— Может, и хочется! Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, а на таких, как ты, плевать не захочу — противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать!

— Вот я и говорю! Война — ты и бесишься без мужниной камчи! — Осмон ухмыльнулся.— Эх, была бы ты моей бабой, раздел бы тебя голяшом, грудастую, тогда бы ты не то запела.

Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала, поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь.

Я стоял на мажаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее:

— Зачем ты связываешься с такими, зачем ты с ними разговариваешь?

До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней мажару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она

скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Мажара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу.

Когда мы загрузили последнюю мажару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра[1] пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обагряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просинью ранних сумерек. Джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор:

— А ты не думай о нем, кичине бала, ну его! Разве это человек?..— Джамиля умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала:— Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает... Может, и нет таких мужчин на свете...

---

[1] Тандыр — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в котором пекут лепешки.

Пока я разворачивал лошадей, Джамиля уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло,— может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат, может, просто развеселилась оттого, что хорошо поработала. Я сидел на мажаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамилю. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по затененному скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть: «Стоит ли думать о болтовне Осмона!»

— Но-о, пошли!— заспешил я, подхлестывая лошадей.

В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца, аильский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что написал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «Послание о здравии» и затем неизменно сообщал: «Посылаю это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе: премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю...» Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в стро-

гой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал: «А также шлю привет моей жене Джамиле...»

Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в аиле, и это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие.

Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала, наконец, письмо в треугольник.

— А-а, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма! — приговаривала она дрожащим от слез голосом. — Вот ведь справляется, как там отец, мать, родичи... Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в аиле. А каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все — нам большего не надо...

Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.

Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда она брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо пробегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг.

Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее.

— Ты что это?— говорила она, запирая сундук.— Вместо того чтобы радоваться, поникла вся! Или только у тебя одной муж в солдатах? Не ты одна в беде — горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим... Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи!

Джамиля молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка!»

Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что, бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.

Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное

местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить, но в этот раз, когда я выпряг лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.

Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.

— Данике, это твои лошади в низине? — спросил я.

Данияр медленно повернул голову.

— Две мои.

— А другая пара?

— Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится? Джене твоя?

— Да, джене.

— Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть...

Как хорошо, что я не отогнал лошадей!

Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На току тоже утихло. Данияр расположился возле меня под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, за-

ложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливей нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. «Опять он задумал ночевать у реки, вот чудак!» — усмехнулся я.

Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до единa, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.

Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь — родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что он с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как пе-

рекати-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом — на Ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда ушел в армию.

Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. «Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся — значит, суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а так говорит чисто!»

«Тулпар[1] за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны, и духи твоих предков. Вот, бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взовьется свой дымок над очагом!» — говорили старые аксакалы.

Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем аиле «новый родич» — Данияр.

И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой кобыленки Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись.

Раненая нога Данияра, тогда еще не сов-

---

[1] Тулпар — сказочный скакун.

сем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась нам по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными глазами.

— Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! — говорили про него.

Но что интересно — при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно, и так.

Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали,

когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку[1] и просиживал там дотемна.

— Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? — смеялись мы.

Однажды и я ради любопытства полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине.

Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не доходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу, только не передо мной — меня он не замечал, — а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его: понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.

Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным, бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать

---

[1] Караульная сопка — возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен кочевых набегов.

вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх: а вдруг снесет, вдруг смоет шалаш? Товарищи мои спали непробудным сном косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу.

Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибая исхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно.

В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не глохнет от шума реки? Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Странный человек, не от мира сего. Где же он сейчас? Смотрю по сторонам — никого не видать. Пологими холмами уходят вдаль берега, в темноте проступают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно.

Казалось бы, пора было уже Данияру завести в аиле друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или

зависти. А ведь в аиле тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая аксакалам, распоряжается на пиршествах и поминках,— такие и у женщин на примете.

А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела аила, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят:

— Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга, перебивается кое-как, ну и ладно...

Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хотелось казаться старше своего возраста, чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, если не прямо в лицо, то между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает — и еще не просохшую наденет: она у него была одна.

Но странное дело — казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним запанибрата. И не потому, что он был старше нас — подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы не церемонились и называли их на «ты»,— и не потому, что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения,— нет, что-то недоступное таилось в его молчаливой, угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно.

Возможно, поводом для нашей сдержан-

ности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика.

Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали.

— Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли,— попросил я.

Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас.

— О войне, говоришь?— спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил:— Нет, лучше вам не знать о войне!

Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.

Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней не легко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне.

Однако не только этим он завоевал уважение к себе. Тот вечер быстро забылся, так же как быстро пропал в аиле интерес к самому Данияру. Его нелюдимость и замкнутость вызвали у людей равнодушие или просто чувство жалости.

— Бездомный, несчастный малый,— говорили о нем.— Хорошо еще, кормится в колхозе, а то в пору с сумой пойти... Тихий он, безобидный, точно овца!

Постепенно люди свыклись со странным характером Данияра, а потом вообще перестали замечать его. Пожалуй, так оно и должно было быть: если человек ничем не проявляет себя, то о нем постепенно забывают.

На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени и Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:

— Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты?— и, будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя толчками ноги, хорошо ли подогнаны колесные втулки.

Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками.

— Ну и пара!— Джамиля весело вскинула голову. И, не мешкая, начала командовать нами:— Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!

Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягала, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом.

Решительность и даже вызывающая само-

уверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамиля накинулась на него:

— Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет, а ну, давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на бричку, укладывай мешки!

Джамиля сама схватила руку Данияра, и, когда они вместе, на сомкнутых руках, подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиле хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:

— Эй ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь!

Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый!» — подумал я.

Путь нам предстоял дальний, километров двадцать по степи, потом через ущелье к станции. Одно было хорошо: как выедешь — и до самого места дорога все время идет под гору, лошади не в тягость.

Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки, на склоне Великих гор, и тянется до самых Черных гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду.

За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня.

Солнце немилосердно палило, а на станции толчея, не пробьешься: брички, мажары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волы из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдатки, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами.

На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос хлеба — фронту!» Во дворе — сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы горячего пара, дышит угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли.

В приемном пункте под железной накаленной крышей — горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирают дыхание.

— Эй ты, парень, смотри у меня! — орет внизу приемщик с красными от бессонницы глазами. — Наверх тащи, на самый верх! — Он грозит кулаком и разражается бранью.

Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем,

куда тащить, и дотащим. Ведь несем мы этот хлеб на своих плечах с самого поля, где по зернышку выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос.

Я и сейчас помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скрипучим прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или солдатки, у которых такие же дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступать, когда такую же работу выполняли женщины.

Вон Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом.

— Крепись, кичине бала, немного осталось!

А у самой голос незвонкий, придушенный.

Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам попадался Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным мерным шагом, как всегда одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю мрачным жгучим взглядом, а она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а Джамиля продолжала не замечать его.

Да, так уж повелось: Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, она крикнет мне: «Айда, пошли!» И, гикая и крутя над головой кнут, погонит лошадей вскачь. Я за ней. Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть.

А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.

Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву — сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил Джамиле:

— Ну зачем ты смеешься над ним, джене, ведь он такой безобидный!

— А ну его! — смеялась Джамиля и махала рукой. — Я ведь так просто, в шутку, ничего с этим бирюком не случится!

А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные, упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и, право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.

И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр, как бы между делом, приостанавливался, потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои чувства: ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили.

«Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!» — возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувст-

во такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.

Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов, сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись: Джамиля кидала яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучи пыли. Нагнал он нас за ущельем, у железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже все вместе прибыли на станцию, и как-то получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась смешком, густо покраснел: он понял, в чем дело.

— Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! — крикнула Джамиля.

Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто

ничего особенного в этом нет. А другие и подавно ничего не заметили — идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его.

— Брось мешок, я же пошутила!

— Уйди! — раздельно сказал он и пошел по трапу.

— Смотри, тащит! — вроде бы оправдываясь, проговорила Джамиля.

Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться.

Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. И как мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!

— Вернись! — вскрикнула Джамиля сквозь невеселый смех.

Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.

Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он

мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног.

Я очнулся от оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до ломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уж не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже, сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок — и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками.

— Бросай! Бросай мешок!— крикнула она.

Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.

— Да бросай же ты, собачий сын!— заорал приемщик.

— Бросай!— закричали люди.

Данияр и на этот раз выстоял.

— Нет, он не бросит!— убежденно прошептал кто-то.

И, кажется, все — те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, — поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.

А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной кры-

шей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром и еще шаг. С каким состраданием и мольбой стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем. Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он, того гляди, сорвется, если не выпустит мешок.

— Беги! Поддержи сзади! — крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.

Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок.

— Уйди! — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.

Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели как пле-

ти. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал:

— Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек, разве я не разрешил бы тебе высыпать внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?

— Это мое дело,— негромко ответил Данияр.

Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. А мы не смели поднять глаза. Стыдно было, и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку.

Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила.

Утром, когда мы грузились на току, Джамиля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском.

— Нá свою дерюгу!— Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы.— И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!

— Да ты что? Что с тобой?

— А ничего!

Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. А все-таки, если бы он засмеялся

или пошутил, стало бы легче — на том и забылась бы наша размолвка.

Джамиля тоже старалась делать вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.

Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндевевшая по краям, вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысили к дому, под колесами поскрипывала щебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.

С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные скалы, а с другой далеко внизу в зарослях тальника и диких топольков бурунилась неугомонная Куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук колес.

Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи. Джамиля ехала впереди меня. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько на-

певала. Я понимал — ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в в такую ночь хочется петь!

И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и пела она обыкновенные аильские песенки вроде: «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру:

— Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?

— Пой, Джамиля, пой! — смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей. — Я слушаю тебя, оба уха навострил!

— А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет! Подумаешь, не хочешь — не надо! — И Джамиля снова запела.

Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор. Скорее всего ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула:

— А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? — и засмеялась.

Данияр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла.

«Нашла кого просить петь!» — усмехнулся я.

У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым

камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом:

Горы мои, сине-белые горы,
Земля моих дедов, моих отцов!

Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда чуть с хрипотцой:

Горы мои, сине-белые горы,
Колыбель моя...

Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал.

Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком, прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.

— Ты смотри! — не удержался я.

А Джамиля даже воскликнула:

— Где же ты был раньше? А ну пой, пой как следует!

Впереди обозначился просвет — выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах.

Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить — только ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека,

что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы.

Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после — никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская.

Я слушал и диву давался: «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто бы мог подумать!»

Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа!

И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение и насмешки, — его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда вдруг загорались у него глаза и взлетали обычно насторожен-

ные брови. Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь — к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом.

Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плёсом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебегали по полю. Могучая толпа старых верб на мельнице шелестела листвой, за речкой догорали костры полевых станов, и кто-то как тень бесшумно скакал по-над берегом, в сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух подсыхающих кизяков.

Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо.

И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь. Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе звукам. Данияр уехал, а мы до самого аила не проронили ни слова. Да и надо ли

было говорить, ведь словами не всегда и не все выскажешь...

С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току, прибывали на станцию, и нам не терпелось побыстрее выехать отсюда, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый, росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал его голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками веяльщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, — во всем, что видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра.

А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переношусь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы и молодые жеребцы с нестрижеными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени; то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чия солнце и одинокий далекий всадник на

огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним — ему рукой подать до солнца — и тоже тонул в зарослях и сумерках.

...Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши горы и лежит суровая, безлюдная. Но в то памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все стороны. И помню, как с того берега кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом:

— Садись, киргизы, в седла: враг пришел! — и мчался дальше в вихрях пыли и волнах знойного марева.

Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена, позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жен и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!»

Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы...

И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился, от кого он все это слышал? Я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него

в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны?

Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое ви́дение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.

Я любил рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается «точь-в-точь». Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.

А как изменилась вдруг Джамиля! Словно и не было той бойкой, языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах, она тихо

радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью, точно перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти. Даниярa она сторонилась, не смотрела ему в глаза.

Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной, вымученной досадой:

— Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!

И потом, выстирав в реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама села подле и долго старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце проношенные плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно.

Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась и у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты — бывшие фронтовики.

— Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть, угощайте, а не то в реку покидаем! — И джигиты шутя выставили вилы.

— Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду чем угостить, а вы сами промышляйте! — звонко отозвалась Джамиля.

— Раз так, всех вас в воду!

И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду.

— Хватай их, тащи! — громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих.

Но странное дело, джигиты точно видели только одну Джамилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и занесли над берегом.

— Целуй, а нет — бросим!

— Давай раскачивай!

Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех звала на помощь подруг. Но те суматошно шагали по берегу, вылавливая в реке свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в воду. Она вышла оттуда с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра, девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.

— Целуй! — приставали джигиты.

Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые тяжелые пряди волос.

Над затеей молодых все на току смеялись. Старики веяльщики, побросав лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джамилю от джигитов.

Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне показалось, что он сорвется сейчас, побежит и выхватит Джамилю из рук джигитов. Он смотрел на нее не отрываясь грустным восхищенным взглядом, в котором сквозили и радость

и боль. Да, и счастье и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.

Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась.

— Побаловались, и хватит! — неожиданно осадила она разошедшихся джигитов.

Кто-то еще попытался обнять ее.

— Отстань! — Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.

Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в аил и слушали пение Данияра.

По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше — идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз — неужели это он поет, нелюдимый, угрюмый Данияр!

И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тяну-

ла к нему руки, но он не видел этого, он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла.

Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах, а теперь пришел его день.

В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задерживались на току, она не находила себе места. Она слонялась возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь к скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества, звала меня:

— Иди сюда, кичине бала, посидим!

Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучи-

тельно не хотела признаться себе, что влюблена, так же как и я желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата.

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть по-детски приоткрытые, чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже спускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.

Но что случилось в этот раз с Данияром — в его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывали от сочувствия и сострадания к нему.

Джамиля шла, склонив голову, и крепко держалась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову, прыгнула на ходу в

бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось не замечая возле себя Джамили. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!

Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песне. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему, такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю свою огромную любовь к родной земле, которая рождала в нем эту вдохновенную музыку, Данияр целиком отдал ей, он пел для нее, он пел о ней.

Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их.

Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но смогу ли я? Дух захва-

тывало от страха и радости. Я шел в сладкопьяном забытьи. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда: «А где же я возьму краски? В школе не дадут — им самим нужны!» Будто все дело только и заключалось в этом.

Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову, глянула на него вполоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила:

— Ну что ты смотришь? — И, помолчав, сурово добавила: — Не смотри на меня, езжай! — И пошла к своей бричке. — А ты чего уставился? — накинулась она на меня. — Садись, бери свои вожжи! Эх, горе мне с вами!

«И что это она вдруг?» — недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило: нелегко ей было, ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы Джамилю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос.

Смертельная усталость ломила тело, хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Колыхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка, вожжи выскальзывали из рук.

На току я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись.

Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра. Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй.

Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая холодная люцерна сочно стегала по босым ногам, щипало потрескавшиеся, в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся подсолнух, что случайно вырос над арыком. Жадно обступили его белоголовые горчаки, но он не сдавался, ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через арык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок вымахавшей по пояс пахучей мяты. Я бегу по родимой земле, над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух-дичок, что вырос у арыка.

Когда я вернулся на ток, мое радужное

настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверно, не спала в эту ночь, темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала:

— Забирайте свою бричку! Посылайте куда угодно, а на станцию ездить не буду!

— Ты чего это, Джамалтай, овод тебя укусил, что ли? — добродушно удивился Орозмат.

— Овод у тебя под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала — не хочу, и всё тут!

Улыбка исчезла с лица Орозмата.

— Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! — Он стукнул костылем о землю. — Если обидел кто, скажи — костыль на его шее обломаю! А нет — не дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! — И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.

Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.

В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая

мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял его себе во всех деталях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил бумагу на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веяльщиков.

— Благослови, аллах! — прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи, брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды.

Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос:

— Ты что, оглох, что ли?

Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.

— Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут делаешь?.. А это что? — спросила она и взяла рисунок. — Гм! — Джамиля сердито вздернула плечи.

Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала:

— Отдай мне это, кичине бала... Я спрячу на память... — И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху...

Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость, и мечты — одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее—кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась — трогательно и виновато. И я улыбался: значит, она уже не сердится на нас с Данияром и если попросит, то Данияр споет сегодня...

На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.

— Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, — позвала она Данияра.

Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джа-

миля негромко заговорила, глядя ему в глаза:

— Ты что — или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..

Данияр молча отвел глаза.

— Думаешь, мне легко? — вздохнула Джамиля.

Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джамили? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом: «Думаешь, мне легко?..»

Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул:

— Кто тут из аила Куркуреу?

— Я из Куркуреу! — ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.

— А ты чей будешь, браток? — Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.

— Керим, это ты? — воскликнула Джамиля.

— Ой, Джамиля, сестрица! — Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь.

Оказывается, это был земляк Джамили.

— Вот кстати-то! Как знал, завернул сю-

да! — возбужденно говорил он. — Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене, свезу... Вот оно, получай, в целости и сохранности. — И Керим протянул Джамиле треугольник.

Джамиля схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю.

Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые и родные, посыпались расспросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.

— Очумел он, что ли! — закричали ему вслед.

Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.

— Поедем, джене, — сказал я.

— Езжай, оставь меня одну! — с горечью ответила она.

Так, первый раз за все время, мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся, выжженная земля, раскаленная за день добела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое, бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оран-

жево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседая на конских мордах, и, тяжело откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни. «К дождю, что ли?» — думал я.

Каким бесприютным почувствовал я себя, какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие, сухопарые дрофы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов — таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души. Только истомившаяся за день степь.

Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра.

— Он ушел к реке, — ответил сторож. — Духотища-то какая, все разошлись по домам. Без ветра на току и делать нечего!

Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке — я знал излюбленное место Данияра над обрывом.

Он сидел, ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревущую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-нибудь хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?»

Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в глубине туч.

Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и дело поглядывая на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле меня. Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле. А куда ему идти? Одинокий, бездомный, кому он нужен? И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля...

Не помню, сколько я проспал, только у самого уха зашуршали по соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном, отжатом платье. Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Данияра.

— Данияр, я пришла, сама пришла, — тихо сказала она.

Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния.

— Ты обиделся? Очень обиделся, да?

И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли.

— Разве я виновата? И ты не виноват...

Над горами вдали прогромыхал гром. Профиль Джамили осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.

Запыленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и

кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало — надвигалась гроза, последняя летняя гроза.

— Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? — горячо шептала Джамиля. — Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно любила тебя. И когда не знала — любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя жду!

Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали по соломе косые студеные капли дождя.

— Джамилям, любимая, родная Джамалтай! — шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. — Я ведь тоже давно люблю тебя, я мечтал о тебе в окопах, я знал, что моя любовь на родине, это ты, моя Джамиля!

— Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!

Гроза разразилась.

Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер.

Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь и свет молний доставали меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияр и Джамиля, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь.

Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломы. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал.

В ту осень, после двухлетнего перерыва, я снова пошел в школу. После уроков я частенько ходил к реке на кручу и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям, мне не все удавалось.

«Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!» — говорил я себе, хотя и не представлял, какими же они должны быть.

Лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тюбиках.

Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, «джи-

гита и кормильца двух семей», об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.

Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник, но topольки еще сберегли желтые плотные листья.

Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы — разбредались матки и теперь уже до самой весны нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойную степь вдоль и поперек пересекли ископыченные тропы.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди — предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке — уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике. Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли реку вброд. Это были Данияр и Джамиля. Я не мог оторвать глаз от их суровых, тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его стоптанных сапог. Джамиля повязалась белым полушалком, сбитым сейчас на затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в кото-

ром она любила щеголять по базару, а поверх него — вельветовый стеганый жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за лямку данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.

Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к нёбу.

Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамиля, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях чия, а потом скрылись.

— Джамиля-а-а! — закричал я что было силы.

«А-а-а-а!» — бесприютно откликнулось эхо.

— Джамиля-а-а! — крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать за ними через реку, прямо по воде.

Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намокла, а я бежал дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаха упал на землю, обо что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне лицо. Тьма будто навалилась мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.

— Джамиля! Джамиля! — всхлипывал я, захлебываясь слезами.

Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа

на земле, я вдруг понял, что любил Джамилю. Да, это была моя первая, еще детская любовь.

Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамилей и Данияром — я расставался со своим детством.

Когда я прибрел впотьмах домой, во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, гарцуя на коне, орал во всю глотку:

— Давно надо было гнать из аила эту приблудную собаку-полукровку! Срам, позор всему роду! Попадись он мне, убью на месте, пусть судят — не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб! Айда, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции!

Я похолодел: куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез.

Сколько разговоров и пересудов было в аиле! Женщины наперебой осуждали Джамилю.

— Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое!

— На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!

— Уж конечно, не полон двор скота! Безродный скиталец, бродяга — что на нем, то

и его. Ничего, опомнится красотка, да поздно будет.

— Вот то-то и оно. А чем Садык не муж, чем не хозяин? Первый джигит в аиле!

— А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает! Поди сыщи еще такую байбиче! Погубила она себя, дура, ни за что ни про что!

Может быть, только я один не осуждал Джамилю, свою бывшую джене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним. Только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамилей ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила вдеть ей нитку в иголку, гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу: дрожат руки у матери, не видит она ушка иголки и плачет.

— На, вдень нитку! — попросила она и тяжело вздохнула. — Пропадет Джамиля... Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла... Отреклась... А зачем ушла? Или худо ей было у нас?..

Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр, но я не посмел, я бы на всю жизнь оскорбил ее.

И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной...

Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону:

— Ушла — туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни на есть никудышного парня.

— Это-то верно! — отвечал Осмон. — Только жаль, не попался он мне тогда, убил бы — и все тут! А ее за волосы да к конскому хвосту! Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли, ему-то не впервой бродяжничать! Только вот в толк не возьму, как все получилось, и знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все, подлая, сама устроила! Я б ее!..

Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону: «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на сенокосе. Подлая ты душонка!»

И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался Садык.

Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.

— Это ты рисовал?

Я оторопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамиля глянули в тот миг на меня.

— Я.

— Это кто? — ткнул он пальцем в бумагу.

— Данияр.

— Изменник! — крикнул мне в лицо Садык.

Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверью.

После долгого гнетущего молчания мать спросила:

— Ты знал?

— Да, знал.

С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи. И когда я сказал: «Я еще раз их нарисую!» — она горестно и бессильно покачала головой.

А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей. Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня.

В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую пел он в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно, в трудный путь за счастьем.

— Я поеду учиться... Скажи отцу. Я хочу быть художником! — твердо сказал я матери.

Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала. Только грустно и тихо сказала:

— Поезжай... Оперились вы и по-своему

крыльями машете... Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда. Поезжай... А может, там одумаешься. Не ремесло это — рисовать да малевать... Поучись — узнаешь... Да не забывай дом свой...

С того дня Малый дом отделился от нас. А я вскоре уехал учиться.

Вот и вся история.

В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу — это была картина, о которой я давно мечтал.

Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамиля. Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая светлая даль.

И пусть не совершенна моя картина — мастерство не сразу приходит, — но она мне бесконечно дорога, она мое первое осознанное творческое беспокойство.

И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор:

«Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи новых дорог — по всему Казахстану, до Алтая и Сибири! Много смелых людей трудится там. Может, и вы подались в те края? Ты ушла, моя Джамиля, по широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни! Пусть всколыхнется и

заиграет всеми красками степь! Пусть вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамиля, не раскаивайся, ты нашла свое трудное счастье!»

Я смотрю на них — и слышу голос Данияра. Он зовет меня в путь-дорогу — значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски.

Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамили!

1958 год

ТОПОЛЕК МОЙ В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ

ВМЕСТО ПРОЛОГА

По роду своей журналистской работы мне часто приходилось бывать на Тянь-Шане. Однажды весной, когда я находился в областном центре Нарыне, меня срочно вызвали в редакцию. Случилось так, что автобус ушел за несколько минут до того, как я прибыл на автостанцию. Следующего автобуса надо было ждать часов пять. Ничего не оставалось делать, как попытаться сесть на попутную машину. Я отправился к шоссе на окраине городка.

На повороте дороги у колонки стоял грузовик. Шофер только что заправился, завинчивал крышку бензобака. Я обрадовался. На стекле кабины был знак международных рейсов «SU» — Советский Союз. Значит, машина шла из Китая в Рыбачье, на автобазу Внештранса, откуда всегда можно добраться до Фрунзе.

— Вы сейчас отправляетесь? Подвезите, пожалуйста, в Рыбачье! — попросил я шофера.

Он повернул голову, искоса посмотрел через плечо и, выпрямившись, спокойно сказал:

— Нет, агай, не могу.

— Очень вас прошу! У меня срочное дело — вызывают во Фрунзе.

Шофер снова хмуро взглянул на меня.

— Понимаю, но не обижайтесь, агай. Никого не беру.

Я был удивлен. Кабина свободна, что стоило ему взять человека?

— Я журналист. Очень спешу. Заплачу сколько угодно...

— Дело не в деньгах, агай!— резко оборвал меня шофер и сердито толкнул ногой колесо.— В другой раз бесплатно довезу. А сейчас... Не могу. Не обижайтесь. Скоро еще будут наши машины, уедете на любой, а я не могу...

«Наверно, он должен по дороге взять когонибудь»,— решил я.

— Ну, а в кузове?

— Все равно... Я очень извиняюсь, агай.

Шофер посмотрел на часы и заторопился.

Крайне озадаченный, я пожал плечами и недоуменно взглянул на заправщицу, пожилую русскую женщину, которая все это время молча наблюдала за нами из окошечка. Она покачала головой: «Не надо, мол, оставьте его в покое». Странно.

Шофер полез в кабину, сунул в рот незажженную папиросу и завел мотор. Он был еще молод, лет тридцати, сутуловатый, высокий. Запомнились мне его цепкие, крупные руки на баранке и глаза с устало опущенными веками. Прежде чем тронуть машину с места, он прошел ладонью по лицу и как-то странно, с тяжелым вздохом, встревоженно посмотрел вперед, на дорогу в горах.

Машина уехала.

Заправщица вышла из будки. Она, видимо, хотела успокоить меня.

— Не расстраивайтесь, сейчас и вы уедете.

Я молчал.

— Переживает парень... История длинная... Когда-то он жил здесь у нас, на перевалочной базе...

Дослушать заправщицу мне не удалось. Подошла попутная «Победа».

Грузовик догнали мы не скоро — почти у самого Долонского перевала. Он шел с огромной скоростью, пожалуй непозволительной даже для видавших виды тянь-шаньских шоферов. Не сбавляя скорости на поворотах, с гудящим ревом неслась машина под нависшими скалами, стремительно вылетала на подъемы и сразу точно бы проваливалась, ныряя в перепады дороги, затем снова появлялась впереди с развевающимися, хлопающими по бортам концами брезента.

«Победа» все-таки брала свое. Мы стали обгонять. Я обернулся: что за отчаянный человек, куда он так несется сломя голову? В это время хлынул дождь с градом, как это нередко бывает на перевале. В косых, секущих струях дождя и града промелькнуло за стеклом бледное, напряженное лицо со стиснутой в зубах папиросой. Круто поворачивая руль, его руки широко и быстро скользили по баранке. Ни в кабине, ни в кузове никого не было.

Вскоре после возвращения из Нарына меня командировали на юг Киргизии, в Ош-

скую область. Как всегда, времени у нашего брата журналиста в обрез. Я примчался на вокзал перед самым отходом поезда и, влетев в купе, не сразу обратил внимание на пассажира, который сидел, повернувшись лицом к окну. Он не обернулся и тогда, когда поезд уже набрал скорость.

По радио передавали музыку: исполнялась на комузе знакомая мелодия. Это был киргизский напев, который всегда представлялся мне песней одинокого всадника, едущего по предвечерней степи. Путь далек, степь широка, можно думать и петь негромко. Петь о том, что на душе. Разве мало дум бывает у человека, когда он остается наедине с собой, когда тихо кругом и слышен лишь цокот копыт. Струны звенели вполголоса, как вода на укатанных светлых камнях в арыке. Комуз пел о том, что скоро солнце скроется за холмами, синяя прохлада бесшумно побежит по земле, тихо закачаются, осыпая пыльцу, сизая полынь и желтый ковыль у бурой дороги. Степь будет слушать всадника, и думать, и напевать вместе с ним...

Может быть, когда-то всадник ехал здесь, по этим местам... Вот так же, наверно, догорал закат на далеком краю степи, становясь постепенно палевым, а снег на горах, так же, наверно, как сейчас, принимая последние отсветы солнца, розовел и быстро меркнул.

За окном проносились сады, виноградники, темно-зеленые закустившиеся кукурузные поля. Пароконная бричка со свеженакошенной люцерной бежала к переезду. Она остановилась у шлагбаума. Загорелый маль-

чишка в драной, вылинявшей майке и закатанных выше колен штанах привстал в бричке, глядя на поезд, заулыбался, помахал кому-то рукой.

Мелодия удивительно мягко вливалась в ритм идущего поезда. Вместо цокота копыт стучали на стыках рельсов колеса. Мой сосед сидел у столика, заслонившись рукой. Мне казалось, что он тоже безмолвно напевал песню одинокого всадника. Грустил он или мечтал, только было в его облике что-то печальное, какое-то неутихшее горе. Он настолько ушел в себя, что не замечал моего присутствия. Я старался разглядеть его лицо. Где же я встречал этого человека? Даже руки знакомые — смуглые, с длинными твердыми пальцами.

И тут я вспомнил: это был тот самый шофер, который не взял меня в машину. На том я и успокоился. Достал книгу. Стоило ли напоминать о себе? Он, наверно, давно уже забыл меня. Мало ли случайных встреч у шоферов на дорогах?

Так мы ехали еще некоторое время, каждый сам по себе. За окном начало темнеть. Попутчик мой решил закурить. Он достал папиросы, шумно вздохнул перед тем, как чиркнуть спичкой. Затем поднял голову, с удивлением глянул на меня и сразу покраснел. Узнал.

— Здравствуйте, агай!— сказал он, виновато улыбаясь.

Я подал ему руку.

— Далеко едете?

— Да... далеко!— Он медленно выдохнул дым и, помолчав, добавил:— На Памир.

— На Памир? Значит, по пути. Я в Ош... В отпуск? Или переводитесь на работу?

— Да вроде бы так... Закурите?

Мы вместе дымили и молчали. Говорить, казалось, больше было не о чем. Мой сосед опять задумался. Он сидел, уронив голову, покачиваясь в такт движению поезда. Показалось мне, он очень изменился с тех пор, как я его видел. Похудел, лицо осунулось, три резкие, тяжелые складки на лбу. На лице хмурая тень от сведенных к переносице бровей. Неожиданно мой спутник невесело усмехнулся и спросил:

— Вы, наверно, на меня в тот раз крепко обиделись, агай?

— Когда, что-то не припомню?— Не хотелось, чтобы человеку было неловко передо мной. Но он смотрел с таким раскаянием, что мне пришлось признаться.— А-а... тогда-то... Пустяки. Я и забыл. Всякое бывает в пути. А вы все еще помните об этом?

— В другое время, может, и забыл бы, но в тот день...

— А что случилось? Не авария ли?

— Да как сказать, аварии-то не было, тут другое...— проговорил он, подыскивая слова, но потом рассмеялся, заставил себя рассмеяться.— Сейчас я бы вас повез на машине куда угодно, да только теперь я сам вот пассажир...

— Ничего, конь по одному следу тысячу раз ступает, может, еще когда-нибудь встретимся...

— Конечно, если встретимся, сам затащу в кабину!— тряхнул он головой.

— Значит, договорились?— пошутил я.

— Обещаю, агай!— ответил он, повеселев.

— А все-таки почему вы тогда не взяли меня?

— Почему?— отозвался он и сразу помрачнел. Замолчал, опустив глаза, пригнулся над папиросой, ожесточенно затягиваясь дымом. Я понял, что не надо было задавать этого вопроса, и растерялся, не зная, как исправить ошибку. Он погасил окурок в пепельнице и с трудом выдавил из себя:— Не мог... Сына катал... Он меня ждал тогда...

— Сына?— удивился я.

— Дело такое... Понимаете... Как бы вам объяснить...— Он вновь закурил, подавляя волнение, и, вдруг твердо, серьезно глянув мне в лицо, стал говорить о себе.

Так мне довелось услышать рассказ шофера.

Времени впереди было много — поезд идет до Оша почти двое суток. Я не торопил, не перебивал его вопросами: это хорошо, когда человек сам все рассказывает, заново переживая, раздумывая, порой умолкая на полуслове. Но мне стоило больших усилий, чтобы не вмешаться в его повествование, потому что по воле случая и благодаря своей непоседливой профессии газетчика я уже знал кое-что о нем лично и о людях, с которыми судьба столкнула этого шофера. Я мог бы дополнить его рассказ и многое объяснить, но решил сделать это, выслушав все до конца. А потом вообще раздумал. И считаю, что поступил правильно. Послушайте рассказы самих героев этой повести.

РАССКАЗ ШОФЕРА

...Началось все это совсем неожиданно. В ту пору я только что вернулся из армии. Служил в моторизованной части, а до этого окончил десятилетку и тоже работал шофером. Сам я детдомовский. Друг мой Алибек Джантурин демобилизовался годом раньше. Работал на Рыбачинской автобазе. Ну, я к нему и приехал. Мы с Алибеком всегда мечтали попасть на Тянь-Шань или на Памир. Приняли меня хорошо. Устроили в общежитии. И даже «ЗИЛ» дали почти новый, ни единой вмятины... Надо сказать, машину свою я полюбил, как человека. Берег ее. Удачный выпуск. Мотор был мощный. Правда, не всегда приходилось брать полную нагрузку. Дорога сами знаете какая — Тянь-Шань, одна из самых высокогорных автотрасс мира: ущелья, хребты да перевалы. В горах воды сколько угодно, а все равно постоянно возишь ее с собой. Вы, может, замечали, к кузову в переднем углу прибита деревянная крестовина, а на ней камера с водой болтается. Потому что мотор на серпантинах перегревается страшно. А груза везешь не так уж много. Я тоже поначалу прикидывал, голову ломал, что бы такое придумать, чтоб побольше груза брать. Но изменить вроде ничего было нельзя. Горы есть горы.

Работой я был доволен. И места нравились мне. Автобаза у самого берега Иссык-Куля. Когда приезжали иностранные туристы и часами простаивали как обалдевшие на берегу озера, я про себя гордился: «Вот,

мол, какой у нас Иссык-Куль! Попробуй найди еще такую красоту...»

В первые дни одно лишь обижало меня. Время было горячее — весна, колхозы после сентябрьского Пленума набирали силы. Крепко взялись они за дело, а техники было мало. Часть наших автобазовских машин посылали в помощь колхозам. Особенно новичков вечно гоняли по колхозам. Ну, и меня тоже. Только налажусь в рейсы по трассе, как снова снимают, айда по аилам.

Я понимал, что дело это важное, нужное, но я ведь все-таки шофер, машину жалко было, переживал за нее, точно это не ей, а мне самому приходилось по ухабам трястись и месить грязь по проселкам. Дорог таких и во сне не увидишь...

Так вот, еду я как-то в колхоз — шифер вез для нового коровника. Аил этот в предгорье, и дорога идет через степь. Все шло ничего, путь просыхал уже, до аила рукой подать осталось, и вдруг засел я на переезде через какой-то арык. Дорогу здесь с весны так избили, искромсали колесами, верблюд потонет — не найдешь. Я туда-сюда, по-всякому приноравливался — и ничего не получается. Присосала земля машину и ни в какую, держит, как клещами. К тому же крутанул я с досады руль так, что заклинило где-то тягу, пришлось лезть под машину... Лежу там весь в грязи, в поту, кляну дорогу на все лады. Слышу, кто-то идет. Снизу мне видны только резиновые сапоги. Сапоги подошли, остановились напротив и стоят. Зло взяло меня — кого это принесло и чего глазеть, цирк тут, что ли.

— Проходи, не стой над душой! — крикнул я из-под машины. Краем глаза заметил подол платья, старенькое такое, в навозе перепачкано. Видно, старуха какая-то, ждет, чтобы подбросил до аила.— Проходи, бабушка! — попросил я.— Мне еще долго тут загорать, не дождешься...

Она мне в ответ:

— А я не бабушка.

Сказала как-то смущенно, со смешком вроде.

— А кто же? — удивился я.

— Девушка.

— Девушка? — Покосился я на сапоги, спросил ради озорства: — А красивая?

Сапоги переступили на месте, шагнули в сторону, собираясь уходить. Тогда я быстро выбрался из-под машины. Смотрю, в самом деле, стоит тоненькая девушка со строгими нахмуренными бровями, в красной косынке и большом, отцовском видно, пиджаке, накинутом на плечи. Молча глядит на меня. Я и забыл, что сижу на земле, что сам весь в грязи и глине.

— Ничего! Красивая,— усмехнулся я. Она и вправду была красивая.— Туфельки бы только! — пошутил я, поднимаясь с земли.

Девушка вдруг круто повернулась и, не оглядываясь, быстро пошла по дороге.

Что это она? Обиделась? Мне стало не по себе. Спохватился, кинулся было догонять ее, потом вернулся, быстро собрал инструмент и вскочил в кабину. Рывками, то взад, то вперед, стал раскачивать машину. Догнать ее — больше я ни о чем не думал. Мотор ревел, машину трясло и водило по сторо-

нам, но вперед я не продвинулся ни на шаг. А она уходила все дальше и дальше. Я закричал, сам не зная кому, под буксующие колеса:

— Отпусти! Отпусти, говорю. Слышишь?

Изо всех сил выжал акселератор, машина поползла-поползла со стоном и просто чудом каким-то вырвалась из трясины. Как я обрадовался! Припустил по дороге, стер платком грязь с лица, пригладил волосы. Поравнявшись с девушкой, затормозил, и черт знает, откуда это у меня взялось, с этаким шиком, почти лежа на сиденье, распахнул дверцу:

— Прошу! — и руку вытянул, приглашая в кабину.

Девушка, не останавливаясь, идет себе дальше. Вот те на! От лихости моей и следа не осталось. Я снова догнал ее, на этот раз извинился, попросил:

— Ну, не сердитесь! Я ведь так просто... Садитесь!

Но девушка ничего не ответила.

Тогда я обогнал ее, поставил машину поперек дороги. Выскочил из кабины, забежал с правой стороны, отворил дверцу и стоял так, не убирая руку. Она подошла, опасливо глядя на меня: вот, мол, привязался. Я ничего не говорил, ждал. То ли она пожалела меня, то ли еще почему — покачала головой и молча села в кабину.

Мы тронулись.

Я не знал, как начать с ней разговор. Знакомиться и говорить с девушками мне не впервой, а тут почему-то оробел. С чего бы, спрашивается? Кручу баранку, поглядываю украдкой. На шее у нее легкие, нежные

завитки черных волос. Пиджак сполз с плеча, она его придерживает локтем, сама отодвинулась подальше, боится задеть меня. Глаза смотрят строго, а по всему видать, что ласковая. Лицо открытое, лоб хочет нахмурить, а он не хмурится. Наконец она тоже глянула осторожно в мою сторону. Мы встретились глазами. Улыбнулись. Тогда я решился заговорить:

— А вы зачем остановились там, у машины?

— Хотела помочь вам,— ответила девушка.

— Помочь?— засмеялся я.— А ведь и вправду помогли! Если бы не вы, сидеть мне там до вечера... А вы всегда ходите по этой дороге?

— Да. Я на ферме работаю.

— Это хорошо!— обрадовался я, но тут же поправился:— Дорога хорошая!— И как раз в эту минуту машину так тряхнуло в колдобине, что мы столкнулись плечами. Я крякнул, покраснел, не зная, куда глаза девать.

А она рассмеялась. Тогда и я не выдержал, захохотал.

— А ведь мне не хотелось ехать в колхоз!— признался я сквозь смех.— Знал бы, что по дороге помощница такая встретится, не ругался бы с диспетчером... Ай, Ильяс, Ильяс!— укорил я себя.— Это меня так зовут,— пояснил ей.

— А меня зовут Асе́ль...

Мы подъезжали к аилу. Дорога пошла ровнее. Ветер бился в окна, срывая косынку с головы Асель, трепал ее волосы. Мы мол-

чали. Нам было хорошо. Бывает, оказывается, легко и радостно на душе, если рядом, почти касаясь локтем, сидит человек, о котором час назад ты еще ничего не знал, а теперь почему-то хочется только о нем и думать... Не знаю, что было на душе у Асель, глаза ее улыбались. Ехать бы нам долго-долго, чтобы никогда не расставаться... Но машина шла уже по улице аила. Вдруг Асель испуганно спохватилась:

— Остановите, я сойду!

Я затормозил.

— Вы тут живете?

— Нет,— она почему-то заволновалась, забеспокоилась,— но я лучше здесь сойду.

— Зачем же? Я вас прямо к дому подвезу!— Я не дал ей возразить, поехал дальше.

— Вот здесь,— взмолилась Асель.— Спасибо!

— Пожалуйста!— пробормотал я и не столько в шутку, а скорее всерьез добавил:— А если я завтра там снова застряну, поможете?

Она не успела ответить. Калитка отворилась, и на улицу выбежала чем-то встревоженная пожилая женщина.

— Асель!— крикнула она.— Где же ты пропадаешь, накажи тебя бог! Иди переодевайся быстрей, сваты приехали!— добавила она шепотом, прикрыв рот рукой.

Асель смутилась, уронив пиджак с плеча, а потом подхватила его и покорно пошла за матерью. У калитки она обернулась, глянула, но калитка тут же захлопнулась. Я лишь теперь заметил на улице у коновязи оседланных потных лошадей, пришедших, видно,

издалека. Приподнялся за рулем, заглянул через дувал. Во дворе у очага снова женщины. Дымил большой медный самовар. Два человека свежевали под навесом баранью тушу. Да, сватов принимали здесь по всем правилам. Мне ничего не оставалось делать. Надо было ехать разгружаться.

К концу дня вернулся на автобазу. Вымыл машину, загнал ее в гараж. Долго возился, все находил какое-нибудь дело. Не понимал я, почему так близко к сердцу принял сегодняшний случай. Всю дорогу ругал себя: «Ну, что тебе надо? Что ты за дурак? Кто она тебе, в конце концов? Невеста? Сестра? Подумаешь, встретились случайно на дороге, подвез к дому и уже переживаешь, будто в любви объяснились. А может, она и думать-то о тебе не хочет. Нужен ты ей больно! Жених у нее законный, а ты никто! Шофер с дороги, сотни таких, не назнакомишься... Да и какое ты имеешь право на что-то рассчитывать: люди сватаются, свадьба будет у них, а ты при чем? Плюнь на все. Крути себе баранку, и порядок!..»

Но беда была в том, что как я ни уговаривал себя, а позабыть Асель не мог.

Делать возле машины было уже нечего. Пойти бы мне в общежитие, оно у нас веселое, шумное, красный уголок есть, а я — нет. Одному хочется побыть. Прилег на крыло машины, руки заложил за голову. Неподалеку копался под машиной Джантай. Был у нас шофер такой. Высунулся из ямы, хмыкнул:

— О чем мечтаешь, джигит?

— О деньгах! — ответил я со злостью.

Не любил его. Жмот первосортный. Хитрый и завистливый. Он и в общежитии не жил, как другие, у хозяйки какой-то на квартире. Поговаривали, жениться обещал на ней, как-никак свой дом будет.

Я отвернулся. На дворе, возле мойки, устроили возню наши ребята. Кто-то взобрался на кабину и из брандспойта поливал шоферов, ждущих очереди. Хохот стоял на всю автобазу. Струя мощная, как стукнет — закачаешься. Парня хотели стащить с кабины, а он себе приплясывает, хлещет по спинам, как из автомата, кепки сбивает. Вдруг струя метнулась вверх, изогнулась в лучах солнца, будто радуга. Смотрю, там, где струя поднимается ввысь, стоит Кадича, наш диспетчер.

Эта не побежит. Держаться она умела с достоинством, к ней так просто не подступишься. И сейчас она стояла безбоязненно, спокойно. Не тронешь, мол, слаб! Оставила этак ногу в сапожке, а сама волосы прикалывает, шпильки в зубах держит, посмеивается. Мелкие серебристые брызги падают ей на голову. Ребята хохочут, подзадоривают паренька на кабине:

— Дай ей по кузову!

— Шандарахни!

— Берегись, Кадича!

Но паренек не осмеливался ее облить, только играл струей вокруг Кадичи. Я бы на его месте окатил ее с головы до ног, и, пожалуй, Кадича не сказала бы мне ни слова, посмеялась бы, да и все. Я всегда замечал, что ко мне она относилась не так, как к остальным, становилась податливой, немного ка-

призной. Любила, когда я, заигрывая, гладил ее по голове. Мне нравилось, что она всегда спорила, ругалась со мной, но быстро сдавалась, даже если я был не прав. Иногда водил ее в кино, провожал: мне было по пути в общежитие. В диспетчерскую к ней заходил запросто, а другим она разрешала обращаться только в окошечко. Но сейчас мне было не до нее. Пусть себе балуются.

Кадича заколола последнюю шпильку.

— Ну хватит, поиграли! — приказала она.

— Слушаюсь, товарищ диспетчер! — Паренек на кабине козырнул. Его с хохотом стащили оттуда.

А она направилась к нам в гараж. Остановилась у машины Джантая, кажется, искала кого-то. Меня она не сразу заметила из-за сетки, разделяющей гараж на отсеки. Джантай выглянул из ямы, проговорил заискивающе:

— Здравствуй, красавица!

— А, Джантай...

Он жадно смотрел на ее ноги. Она недовольно повела плечом.

— Ну, чего уставился? — и легонько ткнула его носком сапожка в подбородок.

Другой бы, наверно, обиделся, а этот нет. Просиял, будто его поцеловали, и нырнул в яму.

Кадича увидела меня.

— Хорошо отдыхается, Ильяс?

— Как на перине!

Она прижалась лицом к сетке, пристально посмотрела и тихо сказала:

— Зайти в диспетчерскую.

— Ладно.

Кадича ушла. Я поднялся и уже собрался идти. Джантай снова высунулся из ямы.

— Хороша баба! — подмигнул он.

— Да не про тебя! — отрезал я.

Я думал, что он обозлится и полезет драться. Я не любитель драк, но с Джантаем схватился бы: так тяжело было на душе, что просто не знал, куда девать себя.

Однако Джантай даже не обиделся.

— Ничего! — пробурчал он.— Поживем — увидим...

В диспетчерской никого не было. Что за черт? Куда она делась? Я обернулся и прямо грудью столкнулся с Кадичой. Она стояла, прислонившись спиной к двери, откинув голову. Глаза ее блестели из-под ресниц. Горячее дыхание обожгло мне лицо. Я не совладал с собой, потянулся к ней, но тут же отступил назад. Как ни странно, мне показалось в тот миг, что я изменяю Асели.

— Зачем звала? — спросил я недовольно.

Кадича все так же молча смотрела на меня.

— Ну?..— повторил я, теряя терпение.

— Что-то ты не слишком приветлив,— сказала она с обидой в голосе.— Или приглянулась какая-нибудь?..

Я растерялся. Почему она упрекает меня? И откуда узнала?

В это время окошечко распахнулось. Появилась голова Джантая. Ухмылка блуждала по его лицу.

— Прошу, товарищ диспетчер! — с ехидцей протянул он, подавая Кадиче какую-то бумагу.

Она зло глянула на него. С досадой бросила мне в лицо:

— А путевку за тебя кто будет получать? Особого приглашения ждешь?

Отстранив меня рукой, Кадича быстро прошла к столу.

— На! — протянула она путевой лист.

Я взял. Путевка была в тот же колхоз. Сердце похолодело: ехать туда, зная, что Асель... Да и вообще почему именно меня больше всех гоняют по колхозам?

Я взорвался.

— Опять в колхоз? Опять навоз да кирпичи возить? Не поеду! — швырнул я путевку на стол.— Довольно, полазил по грязи, пусть другие помотаются!..

— Не кричи! Наряд у тебя на неделю. А надо будет, еще прибавят,— рассердилась Кадича.

Тогда я спокойно сказал:

— Не поеду!

И, как всегда, Кадича неожиданно сдалась:

— Ну хорошо. Я поговорю с начальством.

Она взяла со стола путевку.

«Значит, не поеду,— подумал я,— и никогда не увижусь с Асель». Мне стало еще хуже. Я отчетливо понял, что буду каяться всю жизнь. Будь что будет — поеду!..

— Ладно, давай сюда! — выхватил я путевку.

Джантай прыснул в окошке:

— Передай привет моей бабушке!

Я ничего не сказал. По морде бы ему съездить!.. Хлопнул дверью, пошел в общежитие.

На другой день я глаза проглядел на дороге. Где она? Покажется ли ее тоненькая, как тополек, фигурка? Тополек мой в красной косынке! Тополек степной! Пусть в резиновых сапогах, в пиджаке отцовском. Ерунда. Я же видел, какая она!

Тронула Асель мое сердце, взбудоражила всю душу!

Еду, смотрю по сторонам, нет, не видно нигде. Доехал до аила, вот и ее двор, притормозил машину. Может быть, дома? Но как я ее вызову, что скажу? Эх, не судьба мне, наверно, свидеться с ней! Газанул на разгрузку. Разгружаюсь, а в душе все теплится надежда: а вдруг да и встречу на обратном пути? И на обратном пути не встретил. Тогда я завернул на ферму. Ферма у них на отшибе, далеко от аила. Спрашиваю у девушки одной. Нет ее, говорит, не выходила на работу. «Значит, нарочно не вышла, чтобы не встретиться по дороге со мной»,— подумал я и очень расстроился. Унылый вернулся на автобазу.

На второй день снова в дорогу. Еду и уже не мечтаю увидеть. В самом деле, зачем я ей, зачем беспокоить девушку, если она просватана? Однако не верится мне, что все так у нас и кончится, хотя в аилах до сих пор еще сватают девушек и выдают замуж без их согласия. Сколько раз я читал об этом в газетах! А что толку? После драки саблей не машут, выдадут замуж — назад не воротишься, жизнь поломана... Вот какие мысли бродили у меня в голове...

Весна в ту пору была в полном цвету. Земля в предгорье полыхала тюльпанами.

С детства я люблю эти цветы. Нарвать бы охапку и принести ей! Поди найди ее...

И вдруг смотрю, глазам не верю — Асель! Сидит в сторонке на валуне, на том самом месте, где прошлый раз застряла моя машина. Будто поджидает кого-то! Я к ней! Она испуганно встала с камня, растерялась, косынку сдернула с головы, зажала в руке. Асель была на этот раз в хорошем платье, в туфельках. Даль такая, а она на каблучках. Затормозил я поскорее, а у самого сердце под горло подпирает.

— Здравствуйте, Асель!

— Здравствуйте! — ответила она негромко.

Я хотел помочь ей сесть в кабину, а она повернулась и медленно пошла вдоль дороги. Значит, не хочет садиться. Я тронул машину, открыл дверцу и так же медленно покатил рядом с ней. Так мы и двигались. Она по обочине, а я за рулем. Молчали. О чем говорить? Потом она спросила:

— Вы вчера приезжали на ферму?

— Да, а что?

— Так просто. Не надо приезжать туда.

— Я хотел вас видеть.

Она ничего не сказала.

А у меня на уме это проклятое сватовство. Узнать хочу, как и что. Спросить — язык не поворачивается. Боюсь. Ответа ее боюсь.

Асель глянула на меня.

— Это правда?

Она кивнула головой. У меня руль запрыгал в руках.

— Когда свадьба? — спросил я.

— Скоро,— ответила она тихо.

Я чуть было не рванул на машине куда глаза глядят. Да вместо скорости сцепление выключил. Мотор как взревет на холостых оборотах. Асель в сторону отпрянула. Я и не извинился даже. Не до этого.

— Значит, мы больше не увидимся? — говорю.

— Не знаю. Лучше не видеться.

— А я все равно... как хотите, буду вас искать!

И опять мы замолчали. Может быть, думали об одном и том же, а между нами будто стена стояла, которая не позволяла мне подойти к ней, а ей сесть в мою кабину.

— Асель! — сказал я.— Не избегайте меня. Я ничем не помешаю. Буду смотреть на вас издали. Обещаете?

— Не знаю, может быть...

— Садитесь, Асель.

— Нет. Уезжайте. Аил уже близко.

После этого мы еще встречались на дороге, каждый раз словно невзначай. И снова она идет по обочине, а я сижу в кабине. Обидно, но что поделаешь.

О женихе я не спрашивал. Неудобно, да и не хотелось. Но по ее словам понял, что она его мало знала. Он доводился каким-то родственником матери, жил в дальнем лесхозе, в горах. Их семьи издавна вели, если можно так сказать, обмен девушками, поддерживали родство между собой из поколения в поколение. Родители Асель не допускали мысли отдать ее куда-нибудь на сторону. Обо мне же и речи не могло быть. Кто я? Какой-то пришлый, безродный шоферюга. Да и я сам не посмел бы заикнуться.

Асель в те дни была неразговорчивой. Все думала о чем-то. Но я ни на что не надеялся. Судьба ее решилась, встречаться было бесполезно. Однако мы, как дети, старались не говорить об этом и встречались, потому что не могли не встречаться. Нам обоим казалось, что мы друг без друга не можем жить.

Так прошло дней пять.

В то утро я был на автобазе, готовился в рейс. И вдруг вызывают в диспетчерскую.

— Можешь радоваться! — весело встретила меня Кадича.— Тебя переводят на трассу Синьцзян.

Я остолбенел. Последние дни я жил так, будто вечно буду ездить в колхоз. Рейсы в Китай многодневные, кто знает, когда смогу вырваться к Асель. Исчезнуть внезапно, даже не предупредив ее?

— Да ты, кажется, не рад? — заметила Кадича.

— А как же колхоз! — заволновался я.— Работа там еще не окончена.

Кадича удивленно пожала плечами:

— Ты же раньше сам не хотел.

Я обозлился:

— Мало ли что было раньше.

Сел на стул, сижу, не знаю, что делать.

Прибежал Джантай. Оказывается, вместо меня его направили в колхоз. Я насторожился. Джантай, наверно, откажется, ведь выработка на проселочных дорогах меньше. Но он взял путевку да еще сказал:

— Куда пошлешь, Кадича, хоть на край света! В аиле как раз баранчики поспевают, может, прихватить? — А потом увидел меня.— Извиняюсь, я, кажется, помешал!

— Иди отсюда!..— прошипел я, не поднимая головы.

— Ну что же ты сидишь, Ильяс? — тронула меня за плечо Кадича.

— Я должен поехать в колхоз, пошли меня, Кадича! — попросил я.

— Да ты в своем уме? Не могу я, наряда нет! — сказала она и беспокойно глянула мне в лицо.— Что это ты так разохотился туда ездить?

Я ничего не ответил. Молча вышел, отправился в гараж. Джантай проскочил мимо меня на своей машине, хитро подмигнул, чуть не задев крылом.

Я долго копался, медлил, но выхода не было. Поехал на погрузочную станцию. Там очередь небольшая.

Товарищи меня покурить звали, но я даже из кабины не вылез. Закрою глаза и представляю, как ждет понапрасну Асель на дороге. День будет ждать, два, три... Что же она подумает обо мне?

А очередь приближалась. Уже начали нагружать впереди меня машину. Через минуту и мне становиться под кран. «Прости меня, Асель! — подумал я.— Прости, тополек мой степной! — И тут вдруг мелькнула мысль: — Да я успел бы сказать ей и вернуться. Велика беда — выйду в рейс на несколько часов позже. Объясню потом начальнику автобазы, поймет, быть может, а нет — поругает. Ну, выговор объявит... Не могу я! Поеду!»

Я завел мотор, чтобы податься назад, но машины сзади стояли вплотную. Тем временем груженая машина отошла, очередь была за мной.

— Становись! Эй, Ильяс! — крикнул крановщик.

Кран занес надо мной стрелу. Все кончено! С экспортным грузом никуда не денешься. Как же я раньше не хватился? Подошел отправитель с документами. Я глянул в заднее окошко: в кузов, покачиваясь, опускался контейнер. Он все приближался и приближался.

И тут я крикнул:

— Берегись!

С места рванул из-под контейнера машину, мотор был у меня не выключен. Сзади раздались крики, свист, ругань... А я гнал машину мимо складов, штабелей досок и угольных куч. Я будто прирос к баранке. Земля заметалась, и машину и меня било из стороны в сторону. Да нам не привыкать...

Вскоре я догнал Джантая. Он выглянул из кабины и ошалело вытаращил глаза: узнал меня. И ведь видит, что спешу, значит, надо уступить дорогу, так нет, не дает проехать. Вырулил я на обочину, пошел в обгон прямо полем. Джантай тоже припустил, не дает выбраться на дорогу. Так мы и мчались: он — по дороге, я — полем. Пригнулись к баранкам, косимся, как звери, ругаемся.

— Куда ты? Зачем? — кричит он мне.

Я ему кулаком погрозил. Все же машина у меня была порожняя. Обогнал, ушел.

Асель я не встретил. Приехал в аил, запыхался, будто пешком прибежал, еле дух перевел. Ни во дворе у них, ни на улице никого не видно. Только лошадь оседланная стоит у коновязи. Что делать? Решил ждать, думаю, увидит машину, выйдет на улицу.

Полез я в мотор, будто чиню что-то, сам все время поглядываю на калитку. Долго ждать не пришлось; открывается калитка, и выходит ее мать и старик, чернобородый, грузный такой, два ватных халата на нем: нижний плюшевый, верхний вельветовый. В руке камча хорошая. Распарился, красный, видно, только что чай пил. Подошли они к коновязи. Мать Асель почтительно придержала стремя, помогла старику взгромоздиться в седло.

— Мы вами довольны, сват! — сказала она.— Но и за нас не беспокойтесь. Для своей дочери ничего не пожалеем. Слава богу, руки наши не пусты.

— Э-э, байбиче, в обиде не будем,— ответил он, поудобней устраиваясь в седле.— Дай бог здоровья молодым. А что касается добра: не для чужих — для своих же детей. И родниться нам не впервые... Ну, будь здорова, байбиче, значит, так и порешили: в пятницу!

— Да, да, в пятницу. Святой день. Счастливого пути. Привет передайте сватье.

«Что это они о пятнице говорят? — думаю я.— Какой день сегодня? Среда... Неужели в пятницу увезут? Эх, до каких же пор старые обычаи будут нам, молодым, жизнь ломать!..»

Старик затрусил на лошади в сторону гор. Мать Асель подождала, пока он удалится, потом повернулась ко мне, недружелюбно окинула взглядом.

— Ты чего повадился сюда, парень?—сказала она.—Здесь тебе не караван-сарай! Нечего стоять! Уезжай, слышишь? Тебе говорю.

Значит, приметила уже.

— Поломка у меня! — упрямо буркнул я и уже вовсе по пояс полез под капот. «Нет,— думаю,— никуда я не уйду, пока не увижу ее».

Мамаша еще что-то проворчала, ушла.

Я выбрался, присел на подножку, закурил. Откуда-то прибежала маленькая девочка. Скачет на одной ножке вокруг машины. На Асель немного похожа. Уж не сестренка ли?

— Асель ушла! — говорит она, а сама прыгает.

— Куда? — поймал я ее.— Куда ушла?

— А я почем знаю! Пусти! — вырвалась и на прощанье язык показала.

Захлопнул я капот, сел за руль. Куда ехать, где ее искать? И возвращаться уже пора. Ползу по дороге, в степь выехал. Остановился у переезда через арык. Что делать, ума не приложу. Выбрался из кабины, повалился на землю. Тошно. И Асель не нашел, и рейс сорвал... Задумался, не вижу и не слышу ничего на свете. Сколько я так пролежал, не знаю, но только поднял голову, смотрю, по ту сторону машины стоят девичьи ноги в туфельках. Она! Сразу узнал. Я так обрадовался, что даже сердце заколотилось. Встал на колени, а подняться не могу. И опять это произошло на том самом месте, где мы впервые встретились.

— Проходи, проходи, бабушка! — сказал я туфелькам.

— А я не бабушка! — подхватила Асель игру.

— А кто же ты?

— Девушка.

— Девушка? Красивая?

— А ты посмотри!

Мы разом рассмеялись. Я вскочил, бросился к ней. Она — навстречу. Остановились друг перед другом.

— Самая красивая! — говорю я. А она, как тополек молоденький на ветру, гибкая, в платье с коротенькими рукавчиками, под рукой две книжки держит.— Откуда ты узнала, что я здесь?

— А я из библиотеки шла, смотрю на дороге следы твоей машины!

— Да ну?! — Для меня это значило больше, чем само слово «люблю». Стало быть, думала обо мне и я ей дорог, если искала след моей машины.

— Я и побежала сюда, почему-то решила, что ты ждешь!..

Я взял ее за руку:

— Садись, Асель, прокатимся.

Она охотно согласилась. Я не узнавал ее. И себя не узнавал. Все тревоги, горести как рукой сняло. Были только мы, было наше счастье, небо и дорога. Я открыл кабину, посадил ее, сам сел за руль.

И мы поехали. Просто так, по дороге. Неизвестно куда и зачем. Но для нас это было неважно. Достаточно сидеть рядом, встречаться взглядами, прикасаться рукой к руке. Асель поправила мою солдатскую фуражку (я ее года два носил).

— Так красивей! — сказала она и ласково прижалась к плечу...

Машина птицей неслась по степи. Весь мир пришел в движение, все побежало на-

встречу: горы, поля, деревья... Ветер бил нам в лицо — ведь мы мчались вперед, солнце сияло в небе, мы смеялись, воздух нес запах полыни и тюльпанов, мы дышали полной грудью...

Коршун-степняк, что сидел на развалинах старого кунбеза[1], снялся, замахал крыльями и низко поплыл вдоль дороги, как будто наперегонки с нами.

Два всадника испуганно шарахнулись в сторону. А потом с диким криком приударили вслед.

— Э-эй, стой! Остановись! — хлестали они припавших к земле коней.

Кто они были, не знаю. Может, их знала Асель. Скоро они скрылись в клубах пыли. Впереди бричка какая-то свернула с дороги. Парень и девушка привстали, увидев нас, обнялись за плечи, приветливо помахали.

— Спасибо! — крикнул я им из кабины.

Кончилась степь, вышли на шоссе, асфальт загудел под колесами.

Недалеко должно было быть озеро. Я круто свернул с дороги и прямо по целине, через кусты и травы, направил машину к берегу. Остановились на взгорье, над самой водой.

Сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег. Солнце закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Где-то на другой стороне, вдали, проступала сиреневая гряда снежных гор. Серые тучи собирались над ними.

---

[1] Кунбез — надгробный памятник.

— Смотри, Асель! Лебеди!

Лебеди бывают на Иссык-Куле только осенью и зимой. Весной они залетают очень редко. Говорят, это южные лебеди, летящие на север. Говорят, это к счастью...

Стая белых лебедей носилась над вечерним озером. Птицы то поднимались вверх, то падали вниз, распластав крылья. Садились на воду, шумно плескались, далеко разгоняя кипучие круги пены, и снова взлетали. Потом они вытянулись в цепочку и полетели, разом взмахивая крыльями, к песчаному откосу залива на ночевку.

Мы сидели в кабине, молча смотрели.

А потом я сказал так, будто мы уже все решили.

— Во-он там, видишь, крыши на берегу, это наша автобаза. А это,— я обвел рукой кабину,— это наш дом! — И рассмеялся. Везти-то ее было некуда.

Асель глянула мне в глаза, прижалась к груди, обнимает, а сама плачет и смеется:

— Родной мой, любимый! Не надо мне никакого дома. Только бы отец с матерью, ну хотя бы потом, когда-нибудь поняли меня. Обидятся они на всю жизнь, я знаю... Но разве я виновата...

Стало быстро темнеть. Тучи застлали небо, низко опустились к воде. Озеро замерло, почернело. В горах будто электросварщик засел. То вспыхнет там — ослепит, то погаснет. Гроза надвигалась. Недаром лебеди завернули сюда по пути. Они предчувствовали: непогода могла застигнуть их над горами.

Грянул гром. Полил дождь, шумный, мятущийся. Забормотало, закипело озеро и пошло раскачиваться, биться о берега. Это была первая весенняя гроза. И это была наша первая ночь. По кабине, по стеклам ручьями стекала вода. В черное развернутое озеро падали белые полыхающие молнии. А мы прижались друг к другу, разговариваем шепотом. Чувствую, Асель дрожит: не то напугана, не то замерзла. Я укрыл ее своим пиджаком, обнял покрепче и от этого показался себе сильным, большим. Никогда не думал, что во мне было столько нежности; не знал, что так это хорошо — оберегать кого-то, о ком-то заботиться. Шепнул ей на ухо: «Никому, никогда не дам тебя в обиду, тополек мой в красной косынке!..» Гроза кончилась так же быстро, как и началась. Но по растревоженному озеру продолжали ходить буруны и накрапывал дождь.

Я достал маленький дорожный радиоприемник, единственное мое ценное имущество в ту пору. Настроил, поймал волну. Как сейчас помню, из городского театра транслировали балет «Чолпон». Из-за гор, из-за хребтов полилась в кабину музыка, нежная и могучая, как сама любовь, о которой говорилось в этом балете. Зал гремел, аплодировал, люди выкрикивали имена исполнителей, быть может, бросали цветы к ногам балерин, но никто из сидящих в театре не испытывал, я думаю, столько восторга и волнения, как мы в кабине, на берегу сердитого Иссык-Куля. Это о нас рассказывалось в этом балете, о нашей любви. Мы горячо принимали к сердцу судьбу девушки Чолпон, ушедшей искать

свое счастье. Моя Чолпон, моя утренняя звезда была со мной. В полночь она уснула у меня на плече, а я долго не мог успокоиться. Тихо гладил ее по лицу и слушал, как вздыхает в глубинах Иссык-Куль...

Утром мы прибыли на автобазу. Нагоняй мне был хороший. Но когда узнали, почему я так поступил, то по случаю такого события простили. Потом еще долго смеялись, вспоминая, как я удрал из-под погрузочного крана.

Мне предстояло идти в рейс в Китай. Асель я взял с собой. Рассчитывал оставить ее по пути у своего друга — Алибека Джантурина. Он жил с семьей на перевалочной базе вблизи Нарына. Это не так далеко от границы. Я всегда заезжал к ним проездом. Жена Алибека славная женщина, я уважал ее.

Мы выехали. Первым делом купили в придорожном магазине кое-что из одежды для Асель. Ведь она была в одном только платьице. Кроме всего прочего, купили большую яркую, цветастую шаль. Это было очень кстати. По дороге нам встретился пожилой шофер, наш аксакал Урмат-аке. Еще издали он подал мне знак остановиться. Я затормозил. Мы вышли из кабины, поздоровались:

— Ассалам-алейкум, Урмат-аке!

— Алейкум-ассалам, Ильяс. Пусть будет прочен поводок сокола, который сел на твою руку! — поздравил он меня согласно обычаю.— Дай бог вам счастья и детей!

— Спасибо! Откуда вы узнали, Урмут-аке! — удивился я.

— Э-э, сын мой, хорошая весть на земле не лежит. По всей трассе из уст в уста идет...

— Вон как! — еще больше удивился я.

Стоим на дороге, разговариваем, а Урмат-аке даже и не подходит к машине, не глядит на Асель. Хорошо, что Асель догадалась, в чем дело, накинула платок на голову, прикрыла лицо. Тогда Урмат-аке довольно улыбнулся.

— Вот теперь порядок! — сказал он.— Спасибо, доченька, за уважение. Ты отныне наша невестка, всем аксакалам автобазы невестка. Держи, Ильяс, за смотрины,— подал он мне деньги. Я не мог отказаться, обидел бы.

Мы расстались. Асель не снимала платка с головы. Как будто в заправдашнем киргизском доме, она, сидя в кабине, застенчиво прикрывала лицо при встречах со знакомыми шоферами. А оставшись одни, мы смеялись. В платке Асель показалась мне еще красивей.

— Невестушка моя, подними глаза, поцелуй! — говорю я ей.

— Нельзя, аксакалы увидят! — отвечает она и тут же со смехом, будто бы украдкой, целует в щеку.

Все автобазовские шоферы останавливали нас при встрече, поздравляли, желали счастья, многие из них успели припасти не только цветы, собранные по пути, но и подарки. Не знаю, кому пришла в голову такая мысль. Наверное, это придумали наши русские ребята. У них в селах на свадьбе обычно разукрашивают машину. Вот и на нашей запестрели красные, голубые, зеленые ленты, шелковые косынки, букеты цветов. Заиграла машина, и видно ее было, наверно, за десят-

ки километров. Мы были счастливы с Асель, а я гордился своими друзьями. Говорят, что друзья познаются в несчастье, а по-моему, и в счастье они тоже познаются.

Встретился нам по пути и Алибек Джантурин, самый близкий мой друг. Он старше меня года на два. Такой коренастый, большеголовый. Малый он рассудительный, серьезный и шофер отличный. На базе его очень уважали. В профком выбрали. Ну, думаю, а что он скажет?

Алибек посмотрел на нашу машину, покачал головой. Подошел к Асель, поздоровался с ней за руку, поздравил.

— А ну, дай сюда путевой лист! — потребовал он.

Недоумевая, я молча подал ему лист. Алибек достал авторучку и крупным почерком написал поперек всей путевки: «Свадебный рейс, № 167!» Сто шестьдесят семь — номер путевки.

— Ты что делаешь? — растерялся я.— Это же документ!

— Сохранится для истории! — усмехнулся он.— Думаешь, в бухгалтерии не люди сидят, что ли? А теперь давай руку! — крепко обнял меня, поцеловал.

Мы расхохотались. Потом пошли было по машинам, но Алибек остановил меня:

— А жить-то где будете?

Я развел руками.

— Вот наш дом!— показал на машину.

— В кабине? И детей растить там будете?.. Вот что, поселяйтесь в нашей квартирке на перевалочной, я поговорю на базе с начальством, а мы переедем в свой дом.

— Так он же у тебя не достроен? — Дом Алибек ставил в Рыбачьем, неподалеку от автобазы. В свободное время я ходил помогать.

— Ничего. Там осталось самую малость доделать. А на большее не рассчитывай, сам знаешь, с жильем пока туго.

— Ну, спасибо. Нам большего и не надо. Ведь я хотел только на время оставить у вас Асель, а ты всю квартиру нам отдаешь...

— В общем, останавливайтесь у нас. На обратном пути подожди меня. Тогда всё и решим, с женами! — подмигнул он в сторону Асель.

— Да, теперь — с женами.

— Счастливого свадебного путешествия! — крикнул нам вдогонку Алибек.

Черт возьми! Это действительно было наше свадебное путешествие! Да еще какое!

Мы были рады, что все устраивается хорошо, и только лишь одна встреча немного подпортила мне настроение.

На одном из поворотов выскочила на шоссе машина Джантая. Он был не один, в кабине сидела Кадича. Джантай помахал мне рукой. Я резко затормозил. Машины остановились почти борт о борт. Джантай высунулся в окошко:

— Ты что так разукрасился, как на свадьбе?

— Так оно и есть! — ответил я.

— Да ну? — недоверчиво протянул он и оглянулся на Кадичу.— А мы-то тебя ищем! — сорвалось у него с языка.

Кадича как сидела, так и застыла, бледная, растерянная.

— Здравствуй, Кадича! — сказал я приветливо.

Она молча кивнула головой.

— Так это, значит, невеста с тобой? — только теперь догадался Джантай.

— Нет, жена,— возразил я и обнял Асель за плечи.

— Вот как? — Джантай еще больше вытаращил глаза, не зная, то ли радоваться, то ли нет.— Ну, поздравляю, от души поздравляю...

— Спасибо!

Джантай ухмыльнулся:

— Ловкач ты! Без калыма отхватил?

— Дурак! — обозвал я его.— Трогай машину.

Бывают же такие люди! Я хотел еще обругать его как следует. Выглянул из кабины, смотрю, Джантай стоит у машины, щеку потирает и кричит что-то, грозит кулаком Кадиче. А она бежит куда-то прочь от дороги, в поле. Бежала, бежала и с размаху упала на землю, закрыла голову руками. Не знаю, что произошло там у них, но только мне стало жаль ее, такое чувство было, будто виноват в чем-то. Асели я ничего не сказал.

Через неделю поселились мы в домике на перевалочной базе. Домишко был небольшой — сенцы и две комнатки. Таких домиков там несколько, в них живут шоферы с семьями да рабочие с заправочного пункта. Но место хорошее, у дороги, и Нарын недалеко. Все-таки областной центр. В кино, в магазин можно сходить, и больница есть. Нам еще нравилось, что перевалочная база на середине пути. Рейсы у нас в основном были меж-

ду Рыбачьим и Синьцзяном. Можно было по дороге отдохнуть дома, переночевать. Я почти каждый день виделся с Асель. Если даже задержусь в дороге, все равно хоть в полночь, но доберусь домой. Асель всегда ждала, беспокоилась, не ложилась спать, пока не приеду. Мы уже стали обзаводиться кое-каким домашним скарбом. Одним словом, жизнь налаживалась понемногу. Решили, что и Асель начнет работать, она сама настаивала: в аиле выросла, работящая, но тут, к нашей неожиданной радости, оказалось, что она скоро станет матерью.

...В тот день, когда Асель родила, я шел обратным рейсом из Китая. Спешу, волнуюсь. Асель лежала в родильном доме в Нарыне. Приезжаю — сын! К ней меня, конечно, не пустили. Сел я в машину и гоню по горам. Зимой это было. Снег да скалы кругом. В глазах так и рябит черное и белое, черное и белое... Вылетел я на гребень Долонского перевала, высота огромная, облака по земле ползут, а горы внизу как карлики; выпрыгнул из кабины, набрал полные легкие воздуха и крикнул на весь свет:

— Э-эй, горы! У меня родился сын!

Мне показалось, что горы дрогнули. Они повторили мои слова, и эхо долго не смолкало, перекатываясь от ущелья к ущелью.

Сынишку мы назвали Саматом. Это я ему дал такое имя. Все разговоры наши вертелись вокруг него: Самат, наш Самат улыбнулся, у Самата прорезались зубки. В общем, как полагается у молодых родителей.

Жили мы дружно, любили друг друга, а потом случилась у меня беда.

Трудно теперь разобраться, откуда пришло несчастье. Все перепуталось, переплелось... Правда, сам-то я теперь многое понял, да что толку.

С человеком этим мы встретились случайно в пути и расстались, не подозревая, что эта наша не последняя встреча.

Поздней осенью я шел в рейс. Погода стояла нудная. С неба сыпал не то дождь, не то снег, что-то мокрое, мелкое, не поймешь. По склонам гор туман, как кисель, тянется. Почти всю дорогу шел с включенными «дворниками»: стекла запотевали. Я был уже глубоко в горах, где-то на подходе к Долонскому перевалу. Эх, Долон, Долон, тяньшаньская махина! Сколько у меня с ним связано! Самый трудный, опасный участок трассы. Дорога идет серпантином, петля на петле, и всё вверх по откосам, лезешь в небо, облака давишь колесами, то прижимает тебя к сиденью, не откинешься, то круто падаешь вниз, на руках выжимаешься, чтобы оторваться от баранки. И погода там, на перевале, как дурной верблюд: лето ли, зима, Долону нипочем — вмиг сыпанет градом, дождем или заваруху снежную закрутит такую, что не видать ни зги. Вот какой он, наш Долон!.. Но мы, тянь-шаньцы, привыкли к нему, даже по ночам нередко ходим. Это я сейчас всякие трудности и опасности вспоминаю, а когда работаешь там изо дня в день, раздумывать особенно не приходится.

В одном из ущелий близ Долона догоняю грузовую машину. Точно помню — ГАЗ-51. Вернее, не догоняю, она там уже стояла. Два человека возились у мотора. Один из

них не торопясь вышел на середину дороги, поднял руку. Я затормозил. Подходит ко мне человек в намокшем брезентовом плаще с накинутым капюшоном. Лет ему так под сорок, усы бурые, солдатские, подстриженные щеточкой, хмуроватое лицо, а глаза смотрят спокойно.

— Подбрось, джигит, к Долонскому дорожному участку,— говорит он мне,— трактор пригнать, мотор отказал.

— Садитесь, подвезу. А может, сами придумаем что-нибудь? — предложил я и вышел из кабины.

— Да что тут придумаешь, не фырчит,— прихлопнув открытый капот, уныло отозвался шофер. Посинел он весь, бедняга, озяб, скрючился. Видно, не нашенский, столичный какой-то, растерянно озирается вокруг. Везли они что-то на дорожный участок из Фрунзе. «Что же,— думаю,— делать?» Появилась у меня шальная мысль. Но прежде на перевал глянул. Небо мутное, сумрачное, тучи бегут низко. Однако решился. Идея не ахти какая, но для меня это тогда было как в атаку рискованную броситься.

— Тормоза у тебя в порядке? — спрашиваю шофера.

— Вот те на! Без тормозов, что ли, езжу! Говорят тебе, мотор ни в какую.

— А трос есть?

— Ну есть.

— Тащи сюда, цепляйся.

Уставились на меня недоверчиво, с места не трогаются.

— Ты что, рехнулся?— тихо проговорил шофер.

А у меня характер такой. Не знаю, хорошо это или плохо, но, если взбредет что в голову, умру, а добьюсь своего.

— Слушай, друг, цепляйся! Честное слово, дотяну! — пристал я к шоферу.

Но шофер только отмахнулся.

— Отстань! Ты что, не знаешь, что здесь с буксиром не ездят? Даже и не подумаю.

Обида взяла такая, будто отказал он мне в самой большой просьбе.

— Эх ты, ишак,— говорю,— трусливый!

Позвал дорожного мастера. Он, оказывается, был дорожным мастером, это я потом узнал. А дорожный мастер посмотрел на меня и сказал шоферу:

— Доставай трос.

Тот опешил:

— Вы будете отвечать, Байтемир-аке.

— Все будем отвечать! — ответил он коротко.

Мне это понравилось. Такого человека сразу начинаешь уважать.

И мы пошли, две машины, сцепленные тросом. Сперва ничего, нормально. Но по Долону дорога идет все время в гору, на подъем, по откосам да по крутым спускам. Застонал мотор, завыл, только гул стоит в ушах. «Нет,— думаю,— врешь, выжму из тебя все до капельки!» Я еще раньше замечал, что как ни тяжела дорога на Долоне, а все же оставался какой-то запас мощности на тягу. Грузили нас всегда с оглядкой, не больше семидесяти процентов нормы. Конечно, в тот час я не думал об этом. Бушевала во мне дикая сила вроде спортивного азарта: добиться своего, и все тут — помочь людям

дотащить машину до места. Но сделать это оказалось не так-то просто. Дрожит, надрывается машина, какая-то мокрятина липнет на стекла, щетки едва успевают разметать. Откуда-то тучи поналезли, ложатся прямо под колеса, переползают дорогу. Повороты пошли крутые, отвесные. Втайне, грешным делом, я уже поругиваю себя: зачем связался, как бы не угробить людей! Не столько машина, сколько сам измучился. Скинул с себя все — шапку, фуфайку, пиджак, свитер. Сижу в одной рубашке, а пар с меня валит, как в бане. Шуточное ли дело: машина на буксире сама сколько весит, да еще груз. Хорошо еще, Байтемир стоял на подножке, согласовывал наши движения: мне голосом, а тому — на буксире — рукой знаки подавал. Когда пошли по серпантинам карабкаться, думал, не выдержит, спрыгнет где-нибудь от беды подальше. Но он не шелохнулся. Подобрался, как беркут на взлете, и стоит, вцепился в кабину. Глянул на его лицо, спокойное, будто из камня высеченное, капли воды сбегают по щекам, по усам, и на душе легче.

Нам оставался еще один большой подъем, и тогда всё, победа за нами. В этот момент Байтемир пригнулся в окошко:

— Осторожней, машина впереди! Бери правей.

Я взял вправо. С горы спускалась грузовая машина — джантаевская! «Ну,— думаю,— будет мне от инженера по безопасности: проболтается Джантай как пить дать». Он все ближе и ближе. Уперся руками в баранку, катит вниз, смотрит исподлобья.

Мы пошли впритирку, рукой достать. Когда сравнялись, Джантай отпрянул от окошка и осуждающе покачал головой в рыжем лисьем малахае. «Черт с тобой,— подумал я,— трепи языком, если охота».

Вышли на подъем, внизу крутой спуск, потом пологая дорога и поворот к усадьбе дорожного участка. Туда я и свернул. Притащил все-таки! Выключил мотор и ничего не слышу. Кажется мне, что не я оглох, а природа онемела. Ни единого звука. Выполз я из кабины, присел на подножку. Задыхаюсь, вымотался, да и воздух разреженный на перевале. Байтемир подбежал, накинул на меня фуфайку, шапку нахлобучил на голову. Спотыкаясь, прибрел шофер с той машины, бледный, молчаливый. Сел передо мной на корточки, протянул пачку сигарет. Я взял сигарету, а рука дрожит. Мы все закурили, пришли в себя. Во мне опять заиграла эта проклятая дикая сила.

— Ха! — гаркнул я.— Видал! — и как хлопнул шофера по плечу, он так и сел. Потом мы все трое вскочили на ноги и давай колотить друг друга по спинам, по плечам, а сами гогочем, выкрикиваем что-то нелепое, радостное...

Наконец успокоились, закурили по второй. Я оделся, глянул на часы, спохватился:

— Ну мне пора!

Байтемир нахмурился:

— Нет, заходи в дом, гостем будешь!

А у меня времени ни минутки.

— Спасибо! — поблагодарил я.— Не могу. Домой хочу заскочить, жена ждет.

— А может, останешься? Разопьем буты-

лочку! — начал упрашивать мой новый друг-шофер.

— Оставь! — перебил его Байтемир.— Жена ждет. Как тебя звать-то?

— Ильяс.

— Езжай, Ильяс. Спасибо тебе, выручил.

Байтемир проводил меня на подножке до самой дороги, молча пожал руку, спрыгнул.

Въезжая на гору, я выглянул из кабины. Байтемир все еще стоял на дороге. Шапку он скомкал в руке и думал о чем-то, понурив голову.

Вот и все.

Асель я подробностей не рассказывал. Объяснил только, что помогал людям на дороге, потому задержался. Я ничего не скрывал от жены, но такое рассказывать не решился. Она и без того всегда беспокоилась за меня. А потом я вовсе не собирался повторять такие штуки. Случилось раз в жизни, потягался силами с Долоном, и хватит. Да я забыл бы об этом на второй же день, если бы не занемог на обратном пути, простыл я тогда, оказывается. Едва добрался до дому — и сразу свалился. Не помню, что со мной было, все мерещилось, будто тяну на буксире машину по Долону. Метель горячая обжигает лицо, и так мне тяжело, дышать нечем, баранка точно из ваты, крутану, а она мнется в руках. Впереди перевал — конца-края не видать, машина задралась радиатором в небо, карабкается вверх, ревет, срывается с крутизны... Видимо, это был «перевал» болезни. Одолел я его на третий день, на поправку пошел. Пролежал еще два дня, чувствую себя хорошо, хотел встать, но Асель

ни в какую, заставила меня поваляться в постели. Присмотрелся я к ней и думаю: «Я болел или она болела?» Не узнаю, так измучилась, под глазами синие круги, исхудала, ветер дунет — с ног сшибет. Да еще ребенок на руках. Нет, решил я, так не пойдет. Не имею права дурака валять. Надо ей отдохнуть. Поднялся я с постели, принялся одеваться.

— Асель! — негромко позвал я: сынишка спал.— Договаривайся с соседями за Саматом присмотреть, мы в кино пойдем.

Она подбежала к кровати, повалила меня на подушку, смотрит, будто впервые видит, старается сдержать слезы, но они блестят на ресницах, и губы прыгают. Асель уткнулась лицом мне в грудь, заплакала.

— Что с тобой, Асель? Что ты? — растерялся я.

— Да так, рада, что ты выздоровел.

— И я рад, но зачем так волноваться? Ну, приболел немного, зато дома с тобой побыл, с Саматом вволю наигрался. (А сын уж ползал, ходить собирался, самый забавный возраст.) Хочешь знать, я не прочь еще так поболеть! — пошутил я.

— Да ну тебя! Не хочу! — прикрикнула Асель.

Тут сынишка проснулся. Она принесла его со сна тепленького. И забарахтались мы втроем, лежим на кровати, дурачимся, а Самат, как медвежонок, ползает туда-сюда, топчет нас.

— Вот видишь, как хорошо! — говорю я.— А ты?! Вот поедем скоро к твоим старикам в аил. Пусть попробуют не простить.

Увидят, какой у нас Самат, залюбуются, всё позабудут.

Да, было у нас намерение поехать в аил с повинной, как полагается в таких случаях. Понятно, родители ее были крепко обижены на нас. Даже передали через одного односельчанина, приезжавшего в Нарын, что никогда не простят дочери ее поступка. Сказали, что знать ничего не хотят о нашей жизни. Но мы-то надеялись, что все уладится, когда приедем к старикам и попросим прощения.

Однако требовалось сначала отпуск взять, подготовиться к поездке: подарков накупить обязательно всем родственникам. Ехать с пустыми руками я не хотел.

Тем временем зима наступила. Зима тяньшаньская суровая, с метелями, со снегопадами, обвалами в горах. Нам, шоферам, прибавляется забот, а дорожникам еще больше. В эти дни они несут противолавинную службу. В опасных местах, где может произойти снежный обвал, заранее взрывают лавину и расчищают дорогу. Правда, в ту зиму было сравнительно спокойно, а может, я просто ничего не замечал, у шофера всегда работы хватает. А тут еще неожиданно автобазе дали дополнительное задание. Вернее, мы, шоферы, сами взялись выполнить его, и первым я вызвался. Я и сейчас не раскаиваюсь, но отсюда, пожалуй, и пошли все мои невзгоды. Дело было так.

Возвращался я как-то вечером на автобазу. Асель дала небольшой сверток для жены Алибека Джантурина. Завернул я к их дому, посигналил, вышла жена Алибека. От нее

я и узнал, что рабочие из Китая телеграмму прислали на автобазу, просят скорее перебросить заводское оборудование.

— А где же Алибек? — поинтересовался я.

— Как где? На разгрузочной станции, весь народ там. Эшелоны, говорят, уже прибыли.

Я — туда. Думаю, надо разузнать все толком. Приезжаю. Разгрузочная наша находится в ущелье, на выходе к озеру. Это конечная станция железной дороги. Неспокойная, зыбкая полутьма стоит вокруг. Ветер из ущелья налетает порывами, раскачивает на столбах фонари, гонит по шпалам поземку. Снуют паровозы, сортируя вагоны. На крайнем пути кран мотает стрелой, сгружает с платформы ящики, окованные жестью и проволокой, — транзитный груз в Синьцзян, на машиностроительный завод. Строительство там шло крупное, мы уже возили туда коечто из оборудования.

Машин скопилось много, но никто не грузился. Будто ждали чего-то. Сидят в кабинах, на подножках, иные прислонились к ящикам, укрываясь от ветра. На приветствие мое толком никто не ответил. Молчат, попыхивают папиросами. В стороне Алибек стоял. Я — к нему.

— Что у вас тут? Телеграмму получили?

— Да. Хотят досрочно пустить завод.

— Ну и что?

— За нами дело... Ты смотри, сколько навалили груза вдоль путей, и еще будет. Когда управимся? А люди ждут, надеются на нас!.. Им каждый день дорог!..

— А ты что на меня-то! Я тут при чем?

— Что значит при чем! Ты что, из другого государства, что ли? Или не понимаешь, какое дело в наших руках?

— Сдурел ты, ей-богу! — сказал я удивленно и отошел в сторону.

В это время подошел Аманжолов, начальник автобазы, молча прикурил у одного из шоферов, прикрывшись полой. Оглядел всех нас.

— Вот так, товарищи,— проговорил он,— созвонюсь я с министерством, может быть, подбросит подмогу. Но рассчитывать на это не надо. Как быть, пока сам не знаю...

— Да, тут непросто сообразить, товарищ Аманжолов! — отозвался чей-то голос.— Груз габаритный. Больше двух-трех мест в кузов не полезет. Если даже организовать круглосуточную перевозку, хватит, дай боже, до весны.

— В том-то и дело,— ответил Аманжолов.— А сделать надо. Ну, пока по домам, думать всем!

Он сел в «газик», уехал. Наши никто не тронулись с мест. В углу, в темноте, кто-то пробасил, ни к кому не обращаясь:

— Черта с два! Из одной овчины двух шуб не скроишь! Раньше надо было думать! — встал, пригасил окурок и пошел к машине.

Его поддержал другой. У нас, говорит, всегда так: как подопрет под самую завязку, так и айда — выручайте, братцы шоферы!

На него накинулись:

— Это братское дело, а ты, Исмаил, болтаешь, как баба на базаре!

Я не вмешивался в спор. Но вдруг вспомнил, как буксировал машину на перевале, и загорелся, как всегда.

— Да что думать-то! — выскочил я на середину.— Прицепы надо брать к машинам!

Никто не шевельнулся. Иные даже не глянули на меня. Такое мог ляпнуть только безнадежный дурак.

Джантай тихо присвистнул:

— Видали? — Я его по голосу знал.

Стою, озираюсь по сторонам, хочу рассказать, какой случай у меня был. Но какой-то здоровенный детина слез с ящика, передал рукавицы соседу и, подойдя ко мне, притянул за шиворот, нос к носу:

— А ну, дыхни!

— Ха-а! — дыхнул я ему в лицо.

— Трезвый! — удивился верзила, отпуская ворот.

— Значит, дурак! — подсказал его дружок, и оба пошли к своим машинам, уехали. Остальные тоже молча поднялись, собираясь уходить. Таким посмешищем я никогда не был! Шапка покраснела на мне от позора.

— Стойте, куда вы! — заметался я между шоферами.— Я ведь серьезно говорю. Прицепы можно брать...

Один из старых шоферов, аксакалов, подошел ко мне расстроенный:

— Когда я начал здесь шоферить, ты еще без штанов ходил, малый. Тянь-Шань не танцплощадка. Жаль мне тебя, не смеши народ...

Люди стали расходиться по машинам. Тогда я крикнул на всю станцию:

— Бабье вы, а не шоферы!

Зря я сделал это, на свою голову... Все приостановились, потом разом ринулись на меня.

— Ты что! Чужими жизнями поиграть захотел.

— Новатор! Премию зарабатывает! — подхватил Джантай.

Голоса смешались, меня прижали к ящикам. Думал, измолотят кулаками, подхватил с земли доску.

— А ну, расступись! — свистнул кто-то и растолкал всех. Это был Алибек.— Тише! — гаркнул он.— А ты, Ильяс, говори толком!

— Да что говорить! — ответил я, переводя дыхание.— Пуговицы все пообрывали. На перевале я тащил машину к дорожному участку. На буксире, с грузом. Вот и все.

Ребята недоверчиво примолкли.

— Ну и вытянул? — с сомнением спросил кто-то.

— Да. Через весь Долон до усадьбы.

— Ничего себе! — подивился чей-то голос.

— Брешет! — возразил второй.

— Брешут собаки. Джантай сам видел. Эй, Джантай, где ты? Скажи! Помнишь, как встретились?

Но Джантай не отзывался. Как сквозь землю провалился. Однако тогда не до него было. Начался спор, некоторые уже встали на мою сторону. Но какой-то маловер разубедил их.

— Что трепаться зря! — мрачно проговорил он.— Кто-то что-то сделал один раз, мало ли случаев бывает. Мы не дети. На нашей трассе вождение прицепов запрещено. И никто этого не разрешит. Попробуй скажи ин-

женеру по безопасности, он тебе такую дулю сунет, что не укусишь. Под суд не пойдет из-за вас... Вот и весь разговор.

— Да брось ты! — вступился было другой.— Что значит — не разрешит! Вот Иван Степанович в тридцатом на полуторке первый открыл перевал. А никто ему не разрешал. Сам пошел. Вот он, живой еще...

— Да, было,— подтвердил Иван Степанович.— Но,— говорит,— сомневаюсь; тут и летом-то никто не ходил с прицепами, а сейчас зима...

Алибек все время молчал, а тут заговорил:

— Довольно спорить. Дело хоть и небывалое, а подумать надо. Только не так, как ты, Ильяс: тяп-ляп, давай прицепы — и пошел. Подготовиться надо, продумать все как следует, посоветоваться, провести испытание. Одними словами ничего не докажешь.

— Докажу! — ответил я.— Пока вы будете думать-гадать, я докажу! Тогда убедитесь.

У каждого человека свой характер. Надо им, конечно, управлять, но не всегда это удается. Я сидел за рулем и не ощущал ни машины, ни дороги. Во мне кипели боль, обида, горечь и раздражение. Чем дальше, тем больше распалялось задетое самолюбие. Нет, я вам докажу! Докажу, как не верить человеку, докажу, как смеяться над ним, докажу, как осторожничать, оглядываться!.. Алибек тоже хорош: подумать надо, подготовиться, испытать! Он умный, осмотрительный! А я плевал на это. Запросто сделаю и утру всем носы!

Поставив машину в гараж, я долго еще возился возле нее. В душе у меня все было натянуто до предела. Я думал только об одном: двинуться с прицепом на перевал. Я должен был это сделать во что бы то ни стало. Но кто мне даст прицеп?

С такими мыслями я брел по двору. Было уже поздно. Только в диспетчерской светилось окно. Я остановился: диспетчер! Диспетчер может все устроить! Сегодня дежурила, кажется, Кадича. Тем лучше. Она не откажет, не должна отказать. Да если на то пошло, не преступление же я собираюсь совершить, наоборот, она лишь поможет мне сделать полезное, нужное для всех. Подойдя к диспетчерской, я поймал себя на мысли, что давно уже не входил в эту дверь, как бывало, а обращался через окошечко. Я замялся. Дверь открылась. Кадича стояла на пороге.

— Я к тебе, Кадича! Хорошо, что застал.

— А я уже ухожу.

— Ну, пойдем, провожу до дому.

Кадича удивленно подняла брови, недоверчиво посмотрела на меня, потом улыбнулась:

— Пошли.

Мы вышли из проходной. На улице было темно. С озера доносились шумные всплески, дул холодный ветер. Кадича взяла меня под руку, прижалась, укрываясь от ветра.

— Холодно? — спросил я.

— С тобой не замерзну! — отшутилась она.

Еще минуту назад я отчаянно волновался, а сейчас почему-то успокоился.

— Завтра ты когда дежуришь, Кадича?

— Во вторую смену. А что?

— Дело у меня есть очень важное. От тебя все зависит...

Сначала она и слушать не хотела, но я продолжал убеждать. Остановились у фонаря на углу.

— Ох, Ильяс! — проговорила Кадича, с тревогой заглядывая мне в глаза.— Зря ты это затеваешь!

Но я уже понял, что она сделает, как прошу. Я взял ее за руку:

— Ты верь мне! Все будет в порядке. Ну, договорились?

Она вздохнула:

— Ну что с тобой поделаешь! — и кивнула головой.

Я невольно обнял ее за плечи.

— Тебе бы джигитом родиться, Кадича! Ну, до завтра! — крепко пожал ей руку.— К вечеру приготовь все бумаги, поняла?

— Не спеши! — проговорила она, не выпуская мою руку. Потом неожиданно повернулась.— Ну, иди... Ты сегодня в общежитие?

— Да, Кадича!

— Спокойной ночи!

На другой день у нас был техосмотр. Люди на автобазе нервничали: вечно эти инспектора заявляются некстати, вечно придираются ко всему и составляют акты. Сколько с ними возни, сколько хлопот! Но те были невозмутимы.

За свою машину я был спокоен, однако держался подальше, делая вид, что занят ремонтом. Надо было оттянуть время до

вступления на дежурство Кадичи. Никто не заговаривал со мной, не напоминал о вчерашнем. Я знал, что людям не до меня: все спешили быстрей пройти техосмотр и отправиться в рейс, нагнать упущенное время. И все же обида в душе не проходила.

Техосмотр я прошел во второй половине дня. Инспектора ушли. Стало тихо и пусто. В глубине двора под открытым небом стояли прицепы. Их использовали иногда по равнинным дорогам для внутренних перевозок. Я облюбовал себе один — обыкновенная тележка, кузов на четырех колесах. Вот и вся премудрость. А сколько пришлось переволноваться!.. Тогда я еще не знал, что́ меня ожидает, спокойно пошел в общежитие, надо было поплотней пообедать и вздремнуть часок, дорога предстояла трудная. Но я так и не смог заснуть, ворочался с боку на бок. А когда начало смеркаться, вернулся на автобазу.

Кадича была уже здесь. Все готово. Я взял путевку и поспешил в гараж. «Теперь держитесь!» Развернул машину, подвел к прицепу, перевел мотор на малые обороты, вышел, осмотрелся вокруг. Никого нет. Слышен только стук станков в ремонтной мастерской да шум прибоя на озере. Небо будто бы чистое, но звезд еще не видно. Рядом тихо постукивает мотор, и сердце мое постукивает. Хотел закурить, да тут же отбросил папиросу в сторону — потом.

У ворот меня остановил вахтер:

— Стой, куда?

— На погрузку, аксакал,— сказал я, стараясь быть равнодушным. — Вот пропуск на выезд.

Старик уткнулся в бумажку, никак не разберет при свете фонаря.

— Не задерживай, аксакал! — не утерпел я.— Работа не ждет.

Погрузка прошла нормально. С полной выкладкой: два места в кузове, два — в прицепе. Никто слова не сказал — я даже удивился. Вышел на трассу и только тогда закурил. Уселся поудобнее, включил фары и дал полный газ. Закачалась, замельтешила тьма на дороге. Путь был свободен, и ничто не мешало мне увеличивать скорость до предела. Машина неслась легко, почти не ощущался погромыхивающий сзади прицеп. Правда, на поворотах нас немного заносило в сторону и выруливать было труднее, но это с непривычки. «Приноровлюсь,— думал я.— Даешь Долон! Даешь Синьцзян!» — крикнул я себе и пригнулся к баранке, как всадник к холке коня. Пока дорога ровная, надо было нажимать. К полночи я рассчитывал выйти на штурм Долона.

Некоторое время я даже перекрывал свои расчеты, но, когда начались горы, идти пришлось осторожней. Не потому, что мотор не справлялся с нагрузкой, сдерживали меня не столько подъемы, сколько спуски. Прицеп вихлял на уклонах, гремел, подталкивал машину, мешал спокойно спускаться. Поминутно приходилось переключать скорости, тормозить, выруливать. Сначала я крепился, старался не замечать. Но дальше — больше, это стало беспокоить меня, раздражать. Сколько их на пути — подъемов да спусков, приходило ли кому в голову подсчитать! И все же я не падал духом. Мне ничто не

грозило, только силы выматывались. «Ничего! — успокаивал я себя.— Сделаю передышку перед перевалом. Пробьюсь!» Я не понимал, почему сейчас мне было гораздо труднее, чем тогда осенью, когда я вел на буксире машину.

Долон приближался. Лучи фар заскользили по темным каменным громадам ущелья, скалы с нахлобученными снежными шапками нависали над дорогой. Замелькали крупные хлопья снега. «Должно быть, ветер сдул сверху»,— подумал я. Но хлопья стали налипать на стекла и сползать вниз, значит, шел снег. Он был не очень густ, но мокрый. «Этого еще не хватало!..» — выругался я сквозь зубы. Включил щетки.

Начались первые крутизны перевала. Мотор завел знакомую песню. Монотонный, надсадный гул пополз во тьме по дороге. Наконец подъем взят. Теперь впереди долгий путь под уклон. Мотор заурчал, машина пошла вниз. Сразу замотало из стороны в сторону. Я чувствую спиной, как дурит прицеп, как он наезжает и тычет в машину, слышу, как гремит, скрежещет металл на стыке сцепа. Этот скрежет сводит мне спину до ломоты, отзывается тупой болью в предплечьях. Колеса не подчиняются тормозам, скользят по мокрому снежному покрову. Машина пошла юзом, затряслась всем корпусом, вырывая баранку из рук, и заскользила наискось по дороге. Я вывернул руль, остановился. Дальше не могу, сил нет. Выключил фары, заглушил мотор. Руки одеревенели, стали словно протезы. Я откинулся на спинку сиденья и услышал свое хриплое дыха-

ние. Просидел так несколько минут, отдышался, закурил. А вокруг — тьма, дикая тишина. Только ветер посвистывает в щелях кабины. Боюсь представить, что будет впереди. Отсюда идут вверх по откосам серпантины. Мучение для мотора и для рук это бесконечное карабканье по склону горы зигзагами. Однако раздумывать не приходилось, снег валит.

Я завел мотор. Машина с тяжелым ревом двинулась в гору. Стиснув зубы, без передышки брал серпантины петлю за петлей, одну за другой. Кончились серпантины. Теперь крутой спуск, ровная пологая дорога до поворота к дорожному участку и дальше последний приступ перевала. С трудом съехал вниз. По прямой дороге, которая тянется километра четыре, разогнал машину и с ходу припустил на подъем. Пошел, пошел вверх, еще... Разгона хватило ненадолго. Машина стала угрожающе замедлять ход, переключил скорость на вторую, затем на первую. Откинулся на спину, вцепился в баранку. В просвете туч брызнули звезды в глаза — ни с места, дальше не берет. Колеса забуксовали, повели в сторону, я придавил акселератор до самого дна.

— Ну, еще! Ну, еще немного! Держись! — закричал я не своим голосом.

Мотор с протяжного стона перешел на звенящую дрожь и сорвался, дал перебой, заглох. Машина медленно поползла вниз. И тормоза не помогали. Она скатывалась с горы под тяжестью прицепа и наконец резко остановилась, ударившись о скалу. Все стихло. Я толкнул дверцу, выглянул из кабины.

Так и есть! Проклятье! Прицеп завалился в кювет. Теперь никакими силами его не вытащишь. В беспамятстве я снова завел мотор, рванул вперед. Бешено закрутились колеса, машина поднатужилась, напряглась всем корпусом, но даже не сдвинулась с места. Я прыгнул на дорогу, подбежал к прицепу. Его колеса глубоко увязли в кювете. Что делать? Ничего не соображая, в дикой, исступленной злобе кинулся я к прицепу, стал руками и всем телом толкать колеса. Потом подлез под кузов плечом, зарычал, как зверь, напрягся до свербящей боли в голове, пытаясь сдвинуть прицеп на дорогу, но — куда там. Обессилев, упал лицом на дорогу и, подгребая под себя грязь со снегом, заплакал от досады. Потом встал, пошатываясь, подошел к машине и сел на подножку.

Издали донесся гул мотора. Два огонька спускались под уклон к пологой дороге. Не знаю, кто он был, этот шофер, куда и зачем гнала судьба его средь ночи, но я испугался, будто огни эти должны были настичь и поймать меня. Как вор, метнулся я к сцепу, скинул на землю соединительную серьгу, прыгнул в кабину и помчался вверх по дороге, бросив в кювете прицеп.

Непонятный, жуткий страх преследовал меня. Все время казалось, что прицеп гонится за мной по пятам, вот-вот настигнет. Я несся с небывалой скоростью, не расшибся, пожалуй, лишь потому, что наизусть знал дорогу.

К рассвету прибыл на перевалочную базу. Не отдавая себе никакого отчета, как сумасшедший заколотил кулаками в дверь.

Дверь распахнулась; не глядя на Асель, прошел в дом, как был, весь в грязи с головы до ног. Тяжело дыша, сел на что-то влажное. Это был ворох выстиранного белья на табурете. Полез в карман за папиросами. Под руку попались ключи от зажигания. С силой швырнул их в сторону, уронил голову и застыл, разбитый, грязный, оцепеневший. Босые ноги Асель переминались возле стола. Но что я мог сказать ей? Асель подняла с пола ключи, положила на стол.

— Умоешься? Я воды согрела с вечера,— негромко сказала она.

Я медленно поднял голову. Озябшая Асель стояла передо мной в одной рубашке, прижав к груди тонкие руки. Ее испуганные глаза смотрели на меня с тревогой и сочувствием.

— Прицеп завалил на перевале,— произнес я чужим, бесцветным голосом.

— Какой прицеп? — не поняла она.

— Железный, зеленый, 02-38! Не все равно какой! — раздраженно выкрикнул я.— Украл я его, понимаешь? Украл!

Асель тихо ахнула, присела на кровать.

— А зачем?

— Что зачем? — Меня злило ее непонимание.— С прицепом хотел пробиться через перевал! Ясно? Доказать задумал свое... Вот и погорел!..

Я снова уткнулся в ладони. Некоторое время мы оба молчали. Асель вдруг решительно встала, начала одеваться.

— Что же ты сидишь? — строго сказала она.

— А что делать? — пробормотал я.

— Возвращайся на автобазу.

— Как! Без прицепа?

— Там все объяснишь.

— Да ты что! — взорвался я и забегал по комнате.— С какими глазами я приволоку туда прицеп? Извините, мол, простите, ошибся! На пузе ползать, умолять? Не буду! Пусть что хотят делают. Плевать!

От моих криков в кроватке проснулся сынишка. Он заплакал. Асель взяла его на руки, он заревел еще больше.

— Трус ты! — вдруг тихо, но твердо сказала Асель.

— Что-о? — Не помня себя, я бросился к ней с кулаками, замахнулся, но не посмел ударить. Меня остановили ее ошеломленные, широко раскрытые глаза. Я увидел в ее зрачках свое страшное, искаженное лицо.

Грубо отпихнул ее в сторону, шагнул к порогу и вышел, с треском хлопнув дверью.

На дворе уже было светло. При свете дня все вчерашнее представилось мне еще более черным, неприглядным, непоправимым. Пока что выход видел один: отвезти на место хотя бы тот груз, который был на машине. А дальше не знаю...

На обратном пути домой не заезжал. Не потому, что поссорился с Асель. Никому не хотел показываться на глаза, никого не хотел видеть. Не знаю, как другим, но мне в таких случаях лучше побыть в одиночестве, не люблю показывать людям свое горе. Кому оно нужно? Перетерпи, если можешь, пока не сгорит все...

Переночевал по дороге в доме для приезжих. Снилось мне, будто ищу прицеп на пе-

ревале. Не сон, а кошмар один. Следы вижу, а прицепа нет. Мечусь, спрашиваю, куда девался прицеп, кто его угнал?..

А его и на самом деле не было на том злосчастном месте, когда я возвращался. Потом уж узнал: оказывается, Алибек притащил прицеп на автобазу.

Вслед за прицепом вернулся утром и я. Почернел за эти дни, гляну в зеркальце над кабиной и не узнаю себя.

На автобазе, как всегда, шла обычная жизнь, и только я, будто не здешний, неуверенно подкатил к воротам, тихо проехал во двор, остановился подальше от гаража, в дальнем углу. Из кабины вышел не сразу. Повел глазами по сторонам. Люди побросали работу, смотрят на меня. Эх, развернуться бы сейчас да укатить куда глаза глядят! Но деваться было некуда, пришлось выйти из кабины. Собрал в себе все силы и пошел через двор к диспетчерской. Старался казаться спокойным, но на самом деле иду, как провинившийся перед строем, знаю, что все провожают меня хмурыми взглядами. Никто не окликнул, никто не поздоровался. Да и я на их месте поступил бы, наверно, так же.

Споткнулся на пороге. И сердце мое будто споткнулось: про Кадичу-то забыл, подвел ее!

В коридоре прямо в лицо мне смотрел со стены плакат-«молния». «Позор» — написано крупными буквами, а под этой надписью изобразили прицеп, брошенный в горах...

Я отвернулся. Лицо горело, как от пощечины. Вошел в диспетчерскую. Кадича говорила по телефону. Увидев меня, повесила трубку.

— На! — бросил я на стол злополучную путевку.

Кадича с жалостью глянула на меня. «Только бы,— думаю,— не раскричалась, не заплакала. Потом где-нибудь, не сейчас!» — прошу ее мысленно. И она поняла, ничего не сказала.

— Шум был? — тихо спросил я.

Кадича кивнула головой.

— Ничего! — процедил я сквозь зубы, стараясь ободрить ее.

— Сняли тебя с трассы,— сказала она.

— Сняли? Совсем?—Я криво усмехнулся.

— Хотели совсем — на ремонт... да ребята вступились... Перевели пока на внутренние рейсы. Зайди к начальнику — вызывал.

— Не пойду! Пусть сами решают, без меня. Жалеть не буду...

Я вышел. Понуро поплелся по коридору. Кто-то шел навстречу. Я хотел пройти боком, но Алибек загородил путь.

— Нет, ты постой! — оттеснил он меня в угол. В упор глядя, проговорил злым, свистящим шепотом: — Ну что, герой, доказал? Доказал, что ты сукин сын!

— Хотел как лучше,— буркнул я.

— Врешь! Один хотел, отличиться. На себя работал. А стоящее дело загубил. Пойди теперь попробуй докажи после этого, что можно ходить с прицепом! Балда! Выскочка!

Может быть, кого-нибудь другого эти слова заставили бы одуматься, но мне теперь было все равно; ничего не понял я, только видел одну обиду свою. Я выскочка, стремлюсь отличиться, заработать славу? Это же неправда!

— Отойди! — отстранил я Алибека.— Без тебя тошно.

Вышел на крыльцо. Холодный, пронизывающий ветер мел по двору снежную пыль. Люди проходили мимо, молчаливо косясь на меня. Что было делать? Сунул в карманы кулаки и зашагал к выходу. Лед, намерзший в лужах, с хрустом втаптывался в землю. Под ноги попала банка из-под тавота. Изо всей силы пнул ее через ворота на улицу и сам двинулся следом. Весь день бесцельно бродил я по улицам городка, слонялся по пустой пристани. На Иссык-Куле штормило, баржи качались у причалов.

Потом я очутился в чайной. На столе передо мной стояла початая поллитровка да какая-то закуска в тарелке. Оглушенный первым же стаканом, я тупо глядел себе под ноги.

— Что приуныл, джигит? — раздался вдруг возле меня чей-то приветливый, слегка насмешливый голос. С трудом поднял голову: Кадича.

— Что, не пьется одному?— улыбнулась она, присела рядом за столик.— Ну, давай выпьем вместе!

Кадича разлила водку по стаканам, пододвинула ко мне.

— Держи! — сказала она и задорно подмигнула, будто мы пришли сюда просто посидеть да выпить.

— Ты что радуешься? — спросил я недовольно.

— А что горевать? С тобой мне все нипочем, Ильяс! А я думала, ты крепче. Ну, где наша не пропадала! — негромко засмея-

лась она, придвинулась ближе, чокнулась, глядя на меня темными ласкающими глазами.

Мы выпили. Я закурил. Вроде бы немного полегчало, я улыбнулся первый раз в этот день.

— Молодец ты, Кадича! — сказал я и сжал ее руку.

Потом мы вышли на улицу. Было уже темно. Шальной ветер с озера раскачивал деревья и фонари. Земля качалась под ногами. Кадича вела меня, поддерживая под руку, заботливо приподняла мой воротник.

— Виноват я перед тобой, Кадича! — проговорил я, испытывая чувство вины и благодарности.— Но знай, в обиду тебя не дам... Сам буду отвечать...

— Позабудь об этом, родной мой! — ответила она.— Беспокойный ты. Все рвешься куда-то, а мне больно за тебя. Я и сама такая была. За жизнью не угонишься, бери, что берется... Зачем дразнить судьбу...

— Ну, это смотря как понимать! — возразил я, а потом подумал и сказал: — А может, ты и права...

Мы остановились у дома, где жила Кадича. Она давно жила одна. С мужем они почему-то разошлись.

— Ну, я пришла,— сказала Кадича.

Я медлил, не уходил. Было уже что-то такое, что связывало нас. Да и не хотелось сейчас идти в общежитие. Правда хороша, но иной раз она слишком горька, и невольно стараешься избежать ее.

— Что задумался, милый? — спросила Кадича.— Устал? Идти далеко?

— Ничего, доберусь как-нибудь. До свидания.

Она взяла мою руку.

— У-у, замерз-то! Постой, я согрею! — проговорила Кадича, запрятала мою руку к себе под пальто, порывисто прижала к груди. Я не посмел отдернуть, не посмел воспротивиться этой горячей ласке. Под рукой моей билось ее сердце, стучало, как бы требуя своего, долгожданного. Я был пьян, но не в такой степени, чтобы ничего не понимать. Я осторожно убрал руку.

— Ты пошел? — сказала Кадича.

— Да.

— Ну, прощай! — Кадича вздохнула, быстро пошла прочь.

В темноте хлопнула калитка. Я было тоже тронулся в путь, но через несколько шагов остановился. Сам не знаю, как это произошло, только я был снова возле калитки. Кадича ждала меня. Она бросилась на шею, крепко обняла, целуя в губы.

— Вернулся! — прошептала она, затем взяла меня за руку, повела к себе.

Ночью я проснулся и долго не мог понять, где нахожусь. Голова болела. Мы лежали рядом. Теплая, полуголая Кадича, прильнув, ровно дышала мне в плечо. Я решил встать, немедленно уйти. Пошевелился. Кадича, не открывая глаз, обняла.

— Не уходи! — тихо попросила она. Потом подняла голову, заглянула в темноте в глаза и заговорила прерывающимся шепотом: — Я теперь не могу без тебя... Ты мой! Ты всегда был моим!.. И больше я ничего не хочу знать. Лишь бы ты любил меня, Ильяс!

Другого я ничего не требую... Но и не отступлюсь, понимаешь, не отступлюсь!..— Кадича заплакала, ее слезы потекли по моему лицу.

Я не ушел. Уснули на рассвете. Когда проснулись, на дворе было уже утро. Я быстро оделся, неприятный, тревожный холодок сжимал сердце. Натягивая на ходу полушубок, торопливо вышел во двор, юркнул за калитку. Прямо на меня шел человек в рыжем разлапистом лисьем малахае. Ух, были бы в глазах моих пули! Джантай шел на работу, он жил здесь неподалеку. Мы оба на мгновение замерли. Я сделал вид, что не заметил его. Круто повернулся и быстро зашагал к автобазе. Джантай многозначительно кашлянул вслед. Шаги его скрипели на снегу, не приближаясь и не удаляясь. Так один за другим мы шли до самой автобазы.

Не сворачивая в гараж, я пошел прямо в контору. В кабинете главного инженера, где обычно проходили утренние пятиминутки, приглушенно гудели голоса. Как мне хотелось войти сейчас туда, сесть где-нибудь на подоконнике, положить ногу на ногу, закурить, послушать, как беззлобно переругиваются и спорят шоферы! Никогда не представлял, что это может быть так желанно человеку. Но я не решался войти. Я не трусил, нет, пожалуй. Во мне были все та же озлобленность, вызывающее, отчаянное, бессильное упрямство. И ко всему этому смятение после ночи, проведенной с Кадичой... Да и люди, оказывается, совсем не собирались забывать о моей неудаче. За дверьми речь шла как раз обо мне. Кто-то закричал:

— Безобразие! Под суд его надо, а вы цацкаетесь! Еще хватает нахальства говорить, что он задумал правильно! А прицеп-то бросил на перевале!..

Его перебил другой голос:

— Верно! Видали мы таких. Умный очень. Премиальные захотел под шумок, выручаю, мол, автобазу... Да только боком все вышло!

Люди заспорили, загалдели. Я пошел прочь: не подслушивать же возле дверей.

Услышав за спиной голоса, я ускорил шаги. Ребята все еще гомонили. Алибек кому-то горячо доказывал на ходу:

— А тормоза на прицепы мы сделаем у себя на базе, не такое уж трудное дело перебросить шланг с компрессора, вложить колодки!.. Это Ильяс, что ли? Ильяс, постой! — окликнул он меня.

Я, не останавливаясь, шел к гаражу, Алибек догнал, дернул за плечо.

— Фу, черт! Понимаешь, убедил-таки! Готовься, Ильяс! Пойдешь в напарники? В испытательный рейс! С прицепом!

Зло меня взяло: выручать задумал, на буксир брать друга-неудачника. В напарники! Я сбросил его руку с плеча:

— Катись ты со своими прицепами...

— Да ты что лютуешь? Сам же виноват... Да, я и забыл. Володька Ширяев тебе ничего не говорил?

— Нет, не видел я его. А что?

— Как что? Где ты пропадаешь? Асель ждет на дороге, спрашивает у наших, переживает! А ты!..

У меня ноги подкосились. И так тяжело,

так невыносимо противно стало на душе, что рад был бы умереть на месте. А Алибек дергает меня за рукав и все объясняет про какие-то приспособления к прицепам... Джантай стоит в сторонке, прислушивается.

— Отойди! — вырвал я руку.— Какого черта вы ко мне пристаете? Хватит! Никаких прицепов мне не надо. И ни в каких напарниках я ходить не буду... Ясно тебе?

Алибек нахмурился, заиграл желваками:

— Сам начал, наломал дров — и первый в кусты? Так, что ли?

— Как хочешь, так и понимай.

Подошел к машине, руки трясутся, ничего не соображаю. Прыгнул зачем-то в яму под машину, привалился к кирпичной кладке — голову охладить.

— Слушай, Ильяс! — раздался над ухом шепот.

Я поднял голову: кого еще принесло? Джантай в малахае присел над ямой, как гриб, смотрит на меня хитрыми щелочками глаз.

— Ты ему правильно выдал, Ильяс!

— Кому!

— Алибеку, активисту! Как камень на зуб попал!.. Примолк сразу, новатор.

— А тебе какое дело?

— А такое, ты и сам небось понял: нам, шоферам, прицепы ни к чему. Знаем, как это делается: увеличил норму выработки, сократил пробег, давай все подтягивайся, а расценочку за грузо-километр срежут,— какого же черта бить по своему карману? Славы на день, а потом что? Мы на тебя не в обиде, так и держись...

— Это кто — мы? — спросил я как можно спокойнее.— Мы — это ты?

— Да не я один,— заморгал глазами Джантай.

— Врешь, гнида паршивая! Назло тебе буду ходить с прицепом... Душу положу — добьюсь. А сейчас — вон отсюда! Я еще доберусь до тебя!

— Ну-ну, ты не больно! — огрызнулся Джантай.— Знаю тебя, чистенького... подумаешь. А что касается того, гуляй, пока гуляется...

— Ах ты!..— вскрикнул я вне себя и двинул его со всей силы под челюсть.

Он как сидел на краю ямы, так и опрокинулся. Малахай покатился по земле. Я выскочил из ямы, бросился к нему. Но Джантай успел встать на ноги, отпрыгнул в сторону, завопил на весь двор:

— Хулиган! Бандит! Драться? Найдется на тебя управа! Распоясался, зло срываешь!..

Со всех сторон сбежались люди. Прибежал и Алибек.

— В чем дело? За что ты его?

— За правду! — закатывался Джантай.— За то, что правду сказал в глаза!.. Сам прицеп выкрал, завалил его на перевале, нагадил, а когда другие честно берутся исправить ошибку, драться лезет! Теперь ему невыгодно, славу упустил!

Алибек ко мне. Побелел, заикается от гнева.

— Подлец! — толкнул он меня в грудь.— Зарвался, мстишь за перевал! Ничего, без тебя обойдемся. Без героев!..

Я молчал. Я не в силах был что-либо сказать. Я был так потрясен наглой ложью Джантая, что не мог вымолвить ни слова. Товарищи хмуро смотрели на меня.

Бежать, бежать отсюда... Я подскочил к машине и погнал ее вон из автобазы.

По дороге я напился. Забежал в придорожный магазинчик — не помогло, остановился еще раз, выпил полный стакан. А потом понесло — только мелькают мосты, придорожные знаки да встречные машины. Повеселел вроде. «Эх,— думаю,— пропади все пропадом! Чего тебе не хватает, крутишь баранку, ну и крути. А Кадича... Чем она хуже других? Молодая, красивая. Любит тебя, души не чает. На все готова ради тебя... Дурак неблагодарный!»

Приехал домой уже вечером, стою в дверях, шатаюсь. Полушубок свисает сзади на одном плече. Я иногда освобождаю правую руку, чтобы удобней было за рулем. Привычка такая с детства, когда камни пулял мальчишкой.

Асель кинулась ко мне.

— Ильяс, что с тобой? — Потом, кажется, сообразила, в чем дело.— Ну, что же ты стоишь? Устал, замерз? Раздевайся!

Хотела помочь, но я молча оттолкнул ее. Стыд приходилось прикрывать грубостью. Спотыкаясь, пошел по комнате, с грохотом опрокинул что-то, тяжело опустился на стул.

— Что-нибудь случилось, Ильяс? — Асель беспокойно заглядывала в мои пьяные глаза.

— А ты что, не знаешь, что ли? — Я опустил голову: лучше не смотреть. Я сидел,

ожидал, что Асель начнет упрекать меня, жаловаться на судьбу, проклинать. Я готов был выслушать все и не оправдываться. Но она молчала, как будто не было ее в комнате. Я осторожно поднял глаза. Асель стояла у окна спиной ко мне. И хотя я не видел ее лица, знал, что она плачет. Острая жалость стиснула мое сердце.— Знаешь, я хочу сказать тебе, Асель,— нерешительно начал я.— Хочу сказать...— и умолк. Не хватило духу признаться. Нет, не мог я нанести ей такой удар. Пожалел, а не надо было...— Мы, пожалуй, не сможем скоро поехать к твоим в аил,— повернул я разговор в другую сторону.— Позже как-нибудь. Сейчас не до этого...

— Отложим, не к спеху...— отозвалась Асель. Вытерла глаза, подошла ко мне.— Ты сейчас не думай об этом, Ильяс. Все будет хорошо. О себе лучше подумай. Странный ты какой-то стал. Не узнаю я тебя, Ильяс...

— Ну ладно! — перебил я ее, раздраженный тем, что смалодушничал. — Устал, спать хочу.

Через день на обратном пути я встретил Алибека по ту сторону перевала. Он шел с прицепом. Долон был взят. Увидев меня, Алибек выскочил на ходу из кабины, замахал рукой. Я сбавил скорость. Алибек стоял на дороге радостный, торжествующий.

— Привет, Ильяс! Выходи, покурим! — крикнул он.

Я притормозил. В кабине Алибека за рулем сидел молоденький паренек, второй шофер. На колеса машины были намотаны жгутами цепи. Прицеп был на пневматических тормозах. Это я сразу заметил. Но не оста-

новился, нет. Удалось тебе — хорошо! А меня не трогай.

— Стой, стой! — побежал за мной Алибек.— Дело есть, остановись, Ильяс! Ах ты, шайтан, что же ты?.. Ну ладно же...

Я разгонял машину. Кричи не кричи. Никаких у нас с тобой дел нет. Мое дело давно погорело. Нехорошо я поступил, я потерял в Алибеке лучшего друга. Ведь он был прав, прав во всем, теперь-то я понимаю. Но тогда не мог простить, что он до обидного просто и быстро добился того, что стоило мне стольких нервов, такого напряжения и труда.

Алибек всегда был вдумчивым, серьезным парнем. Он никогда не пошел бы на перевал партизаном, как я. И правильно сделал, что вел машину с напарником. Они могли меняться в пути за рулем и брать перевал со свежими силами. На перевале решают мотор, воля и руки человека. К тому же у Алибека с напарником почти вдвое сокращалось время пробега. Все это он учел, пристроил действующие тормоза к прицепу от компрессора машины. Не забыл самые обыкновенные цепи, обмотав ими ведущие колеса. В общем, он повел бой с перевалом во всеоружии, а не брал на ура.

Вслед за Алибеком стали водить машины с прицепом и другие. Ведь в любом деле главное — начать. Тем временем машин прибавилось, помощь прислали из соседней автобазы. Полторы недели днем и ночью гудел Тянь-Шаньский тракт под колесами. Словом, как ни трудно было, а просьбу китайских рабочих наши выполнили в срок, не подвели. Я тоже работал.

Это я теперь спокойно рассказываю, когда прошло уже столько лет и все улеглось, а в те горячие дни не удержался я в седле... Не так повернул коня жизни...

Но продолжу все по порядку.

Я приехал на автобазу после встречи с Алибеком уже затемно. Пошел в общежитие, но по пути опять свернул в чайную. Все эти дни у меня было неодолимое, нечеловеческое желание напиться до беспамятства, чтобы позабыть все начисто, уснуть мертвецким сном. Я выпил много, но водка почти не действовала на меня. Вышел я из чайной еще более раздраженный и расстроенный. Побрел среди ночи по городу и, уже не задумываясь, свернул на Береговую улицу к Кадиче.

Так и пошло. Заметался я между двух огней. Днем на работе, за рулем, а вечерами сразу шел к Кадиче. С ней было удобней, спокойней, я как бы прятался от себя, от людей, от правды. Мне казалось, что только Кадича понимает меня и любит. Из дому я старался быстрей уехать. Асель, родная моя Асель! Если бы она знала, что своей доверчивостью, чистотой душевной она гнала меня из дому! Я не мог обманывать, знать, что недостоин ее, не заслуживаю всего того, что она для меня делала. Несколько раз приезжал домой нетрезвый. И она даже не упрекнула. До сих пор не могу понять, что это было: жалость, безволие или, наоборот, выдержка, вера в человека? Да, конечно, она ждала, она верила, что я возьму себя в руки, сам осилю себя и стану таким, каким был прежде. Но лучше бы она ругала, принудила выложить честно всю правду. Может быть,

Асель и потребовала бы от меня ответа, если бы знала, что меня терзали не только неприятности по работе. Она не представляла, что творилось со мной в эти дни. А я жалел ее, все откладывал разговор на завтра, на следующий раз, да так и не успел сделать того, что обязан был выполнить ради нее, ради нашей любви, ради нашей семьи...

В последний раз Асель встретила меня радостная, оживленная. Она разрумянилась, глаза ее блестели. Она потащила меня, как был, в полушубке и сапогах, прямо в комнату.

— Смотри, Ильяс! Самат уже стоит на ногах!

— Да ну? Где он?

— А вон — под столом!

— Так он же ползает по полу.

— Сейчас увидишь! А ну, сынок, покажи папе, как ты стоишь! Ну иди, иди, Самат!

Самат каким-то образом понял, чего от него хотят. Он весело заковылял на четвереньках, выбрался из-под стола и, держась за кровать, с трудом выпрямился. Он постоял, мужественно улыбаясь, покачиваясь на мягких ножонках, и с той же мужественной улыбкой шмякнулся об пол. Я подскочил, сгреб его в охапку и прижал к себе, вдыхая нежный, молочный запах ребенка. Какой он был родной, этот запах, такой же родной, как Асель!

— Ты его задушишь, Ильяс, осторожней!— Асель взяла сына.— Ну, что скажешь? Раздевайся. Скоро он станет совсем большой, тогда и мама начнет работать. Все уладится, все будет хорошо, так ведь, сынок, да?

А ты!..— Асель глянула на меня улыбчивым и грустным взглядом.

Я сел на стул. Я понял, что в это короткое слово она вложила все, что хотела сказать, все то, что накопилось у нее на душе за эти дни. Это были и просьба, и упрек, и надежда. Я должен был сейчас же рассказать ей все или немедленно уехать. Лучше уж уехать. Она очень счастлива и ничего не подозревает. Я встал со стула.

— Я поеду.

— Куда ты? — встрепенулась Асель.— Ты и сегодня не останешься? Чаю хоть выпей.

— Не могу. Надо мне,— пробормотал я.— Сама знаешь, работа сейчас такая...

Нет, не работа гнала меня из дома. Я должен был лишь утром выехать в рейс.

В кабине я тяжело плюхнулся на сиденье и застонал от горя, долго копался, не попадая ключом в зажигание. Потом вырулил на дорогу и ехал, пока не скрылись позади огни в окнах. В ущелье, сразу же за мостом, свернул на обочину, загнал машину в кусты, погасил фары. Здесь я решил переночевать. Достал папиросы. В коробке оказалась единственная спичка. Она коротко вспыхнула и погасла. Я швырнул коробок вместе с папиросами за окошко, натянул на голову полушубок и, поджав ноги, скрючился на сиденье.

Луна хмурилась над холодными, темными горами. Ветер в ущелье тоскливо посвистывал, раскачивал приоткрытую дверь кабины. Она тихо поскрипывала. Никогда я так остро не ощущал полного одиночества, оторванности от людей, от семьи, от товари-

щей по автобазе. Жить так дальше было нельзя. Я дал слово, как только вернусь на автобазу, сразу же объяснюсь с Кадичой, попрошу ее простить меня и забыть все, что было между нами. Так будет честно и правильно.

Но жизнь решила по-иному. Не ожидал я, не думал, что произойдет такое. Через день, утром, вернулся на перевалочную базу. Дома никого не оказалось, дверь была открыта. Сначала я предположил, что Асель просто куда-то вышла, за водой или дровами. Огляделся по сторонам. В комнате беспорядок. Нежилым, холодным духом пахнуло на меня из нетопленной, черной плиты. Я шагнул к кроватке Самата — пусто.

— Асель! — прошептал я со страхом.

«Асель!» — шепотом ответили стены.

Я опрометью кинулся к двери.

— Асель!

Никто не отозвался. Побежал к соседям, к бензоколонке; толком никто ничего не знал. Говорили, что вчера она уезжала куда-то на весь день, оставив ребенка у знакомых, а к ночи вернулась. «Ушла, узнала!» — содрогнулся я от страшной догадки.

Вряд ли когда-нибудь мне приходилось гнать так машину по Тянь-Шаньским горам, как в тот несчастный для меня день. Мне все время казалось, что я догоню ее за тем вон поворотом, или вон в том ущелье, или еще где-нибудь по дороге. Как беркут, настигал я идущие впереди машины, тормозил, шел бок о бок, окидывая взглядом кабины, кузова, и вырывался вперед, в обгон, под брань шоферов. Так я мчался три часа без

передышки, пока не закипела вода в радиаторе. Выскочил из кабины, забросал радиатор снегом, принес воды. От радиатора шел пар, машина дышала, как загнанная лошадь. Только собрался садиться за руль, как увидел идущий навстречу автосцеп Алибека. Я обрадовался. Хоть мы с ним не разговаривали и не здоровались, но если Асель у них, то он скажет. Я выбежал на дорогу, поднял руку:

— Стой, стой, Алибек! Остановись!

Сменщик, сидевший за рулем, вопросительно глянул на Алибека. Тот хмуро отвернулся. Машина пронеслась мимо. Я стоял на дороге весь в снежной пыли и долго еще держал поднятую руку. Потом вытер лицо. Что ж, долг платежом красен. Но мне было не до обиды. Значит, Асель не приезжала к ним. Это было хуже. Выходит, она поехала к себе в аил, больше ей некуда деваться. Как она переступила порог родительского дома, что сказала? И как посмотрели там на ее позорное возвращение? Одна, с ребенком на руках!

Надо было немедленно ехать в аил.

Скорее разгрузился и, оставив машину на улице, побежал в диспетчерскую сдать документы. В проходной я столкнулся с Джантаем — ох уж эта его наглая, ненавистная усмешка!

Кадича странно взглянула на меня, когда я просунулся в окошко диспетчерской и бросил на стол путевку.

Что-то встревоженное, виноватое мелькнуло в ее глазах.

— Принимай быстрей! — сказал я.

— Что-нибудь случилось?

— Нет ее дома. Ушла Асель!

— Да что ты? — бледнея, привстала из-за стола Кадича и, кусая губы, проговорила: — Прости меня, прости меня, Ильяс! Это я, я...

— Что я? Говори толком, рассказывай все! — бросился к двери.

— Я и сама не знаю, как все получилось. Честно говорю тебе, Ильяс. Вчера постучался в окошко вахтер из проходной, говорит, какая-то девушка хочет тебя видеть. Я сразу узнала Асель. Она молча посмотрела на меня и спросила: «Это правда?» А я, я вдруг сказала, не помня себя: «Да, правда! Все правда. Со мной он!» Она отпрянула от окошка. А я упала на стол и зарыдала, повторяя, как дура: «Мой он! Мой!» Больше я ее не видела... Прости меня!

— Постой, откуда же она узнала?

— Это Джантай! Это он, он и мне угрожал. Разве ты не знаешь этого подлеца! Ты езжай, Ильяс, к ней, найди ее. Я больше не буду вам мешать, уеду куда-нибудь...

Машина несла меня по зимней степи. Сизая, смерзшаяся земля. Ветер завивал гривы сугробов, выносил из арыков бездомное перекати-поле и гнал его прочь. Вдали темнели обветренные дувалы и голые сады аила.

К вечеру приехал в аил. Остановился возле знакомого двора, быстро закурил, чтобы унять тревогу, пригасил окурок, посигналил. Но вместо Асель вышла ее мать, накинув на плечи шубу. Я стал на подножку и негромко сказал:

— Здравствуйте, апа!

— А-а, так это ты явился? — грозно отве-

тила она.— И после всего этого ты смеешь называть меня апой? Прочь отсюда, вон с моих глаз! Бродяга, проходимец! Сманил мое родное дитя, а теперь прикатил! Бесстыжие твои глаза! Испоганил нам всю жизнь...

Старуха не давала мне и рта раскрыть. Она продолжала бранить и поносить меня самыми обидными словами. На ее голос стали сбегаться люди, мальчишки из соседних дворов.

— Убирайся отсюда, пока не созвала народ! Будь ты проклят! Чтобы и не видеть тебя никогда! — подступала ко мне разгневанная женщина, сбросив на землю шубу.

Мне ничего не оставалось, как сесть за руль. Надо было уезжать, раз Асель даже не желала меня видеть. В машину полетели камни и палки. Это мальчишки выпроваживали меня из аила.

В ту ночь я долго бродил по берегу Иссык-Куля. Озеро металось, освещенное луной. О Иссык-Куль — вечно горячее озеро! Ты было холодным в ту ночь, студеным и неприветливым. Я сидел на днище опрокинутой лодки. Волны набегали на отмель злыми валами, бились о голенища сапог и уходили с тяжелым вздохом...

...Кто-то подошел ко мне, осторожно положил руку на плечо: Кадича.

Через несколько дней мы уехали во Фрунзе, устроились там в изыскательскую экспедицию по освоению пастбищ Анархайской степи. Я — шофером, Кадича — рабочим. Вот так началась она, новая жизнь.

Далеко в глубину Анархая укатили мы с

экспедицией, к самому Прибалхашью. Раз уж рвать с прошлым, то рвать навсегда.

Первое время заглушал тоску работой. А дел там было немало. За три с лишним года исколесили просторы Анархая вдоль и поперек, нарубили колодцев, проложили дороги, построили перевалочные базы. Одним словом, теперь это уже не прежний дикий Анархай, где среди белого дня можно заблудиться и целый месяц скитаться по холмистой, полынной степи. Сейчас это край животноводов с культурными центрами, благоустроенными домами... Хлеб сеют и даже сено заготавливают. Работы на Анархае и поныне непочатый край, тем более для нашего брата шофера. Но я вернулся обратно. Не потому, что слишком трудно было в необжитых местах, это дело временное. Мы с Кадичой трудностей не боялись и, надо сказать, жили неплохо, с уважением друг к другу. Но одно дело уважение, а другое — любовь. Если даже один любит, а другой нет — это, по-моему, не настоящая жизнь. Или человек так устроен, или я по натуре своей таков, но мне постоянно чего-то не хватало. И не возместишь этого ни работой, ни дружбой, ни добротой и вниманием любящей женщины. Я давно уже втайне каялся, что так опрометчиво уехал, не попытавшись еще раз вернуть Асель. А за последние полгода не на шутку затосковал по ней и сыну. Ночами не спал. Чудился мне Самат — улыбается, неуверенно держится на слабых ножках. Его нежный, детский запах я будто вдохнул в себя на всю жизнь. Потянуло меня к родным Тянь-Шаньским горам, к своему си-

нему Иссык-Кулю, к предгорной степи, где я встретил свою первую и последнюю любовь. Кадича знала об этом, но ни в чем не винила меня. Мы поняли наконец, что не можем жить вместе.

Весна как раз выдалась на Анархае очень ранняя. Быстро осел снег, холмы обнажились, зазеленели. Оживала степь, вбирала в себя тепло и влагу. По ночам воздух стал прозрачным, небо — звездным.

Мы лежали в палатке у буровой вышки. Не спалось. Вдруг донесся в степной тиши невесть откуда далекий, едва слышный гудок паровоза. Каким образом долетел он к нам, трудно сказать. До железной дороги было от нас полдня езды по степи. Или мне померещилось, не знаю. Но только встрепенулось сердце, позвало в путь. И я сказал:

— Уеду я, Кадича.

— Да, Ильяс. Надо нам расстаться,— ответила она.

И мы расстались. Кадича уехала в Северный Казахстан на целину.

Очень мне хочется, чтобы она была счастливой. Я хочу верить, что найдет она всетаки того человека, который, быть может, сам того не зная, ищет ее. Не повезло ей с первым мужем, не получилась у нее жизнь и со мной. Возможно, я остался бы с ней, если бы не знал, что значит настоящая любовь, как это любить самому и быть любимым. Ведь это дело такое, что и объяснить трудно.

Я отвез Кадичу на полустанок, посадил в поезд. Бежал рядом с вагоном, пока не отстал. «Счастливого пути, Кадича, не поминай лихом!..» — прошептал я в последний раз.

Журавли над Анархаем летели на юг, а я уезжал на север, уезжал на Тянь-Шань...

Приехал и, нигде не останавливаясь, сразу же отправился в аил. Я сидел в кузове попутной машины, старался ни о чем не думать — страшно и радостно мне было. Мы ехали по предгорной степи, по той самой дороге, на которой встречались с Асель. Но это был уже не проселок, а усыпанный гравием путь с бетонными мостами и дорожными знаками. Мне даже жаль стало прежнюю степную дорогу. Не узнал я переезда через арык, где когда-то застряла моя машина, не нашел того валуна, на котором сидела Асель.

Не доезжая до окраины аила, я застучал по кабине.

— В чем дело? — высунулся шофер.

— Останови, сойду.

— В поле? Сейчас доедем.

— Спасибо! Тут недалеко,— спрыгнул я на землю.— Пешком пройдусь,— сказал я, протягивая деньги.

— Оставь!— говорит.— У своих не берем.

— Держи, на лбу не написано.

— По повадке вижу.

— Ну ладно, коли так. Будь здоров!

Машина ушла. А я все стоял на дороге, не мог собраться с духом. Закурил, отвернувшись от ветра. Пальцы дрожали, когда подносил к губам сигарету. Затянулся несколько раз, затоптал окурок и пошел. «Вот и прибыл!» — пробормотал я. Сердце стучало так, что в ушах звенело, по голове будто молотом били.

Аил заметно изменился, разросся, появилось много новых домов с шиферными крышами. Провода протянулись вдоль улиц, радио говорило на столбе, у правления колхоза. Детвора бежала в школу. Подростки, что постарше, шли гурьбой с молодым учителем, разговаривали о чем-то. Может быть, среди них были и те, что бросали в меня камнями и палками... Идет время, идет, не останавливается.

Я заторопился. Вот и двор с вербами и глиняным дувалом. Остановился, переводя дыхание. Холодея от страха и тревоги, неуверенно направился к калитке. Постучал. Выбежала девочка с портфелем в руках. Та самая, что язык мне показывала, она теперь ходит в школу. Девочка спешила на занятия. Она недоуменно посмотрела на меня и сказала:

— А дома никого нет!

— Никого нет?

— Да. Апа уехала в гости, в лесхоз. А отец на водовозке у тракторов.

— А Асель где? — робко спросил я, чувствуя, как сразу пересохло во рту.

— Асель? — удивилась девочка.— Асель давно уехала...

— И никогда не приезжала?

— Каждый год приезжает вместе с джезде́[1]. Апа говорит, что он очень хороший человек!..

Больше я не стал ни о чем расспрашивать. Девочка побежала в школу, а я повернул назад.

---

[1] Джезде — муж старшей сестры.

Эта новость так меня огорошила, что стало вдруг все равно за кого, когда и куда она вышла замуж. Зачем знать? Почему-то мне никогда не приходило в голову, что Асель может найти другого. А ведь это должно было случиться. Не сидеть же ей все эти годы и ждать, пока я заявлюсь.

Я пошел по дороге, не дожидаясь попутной машины.

Да, изменилась дорога, которой я шел — утрамбованная, посыпанная жестким гравием. Только степь оставалась прежней, с темной зябью и светлой, вылинявшей стерней. Широкими, пологими увалами убегала она от гор к горизонту, обрываясь светлой кромкой на далеких берегах Иссык-Куля. Земля лежала обнаженная, влажная после снега. Где-то уже рокотали тракторы на весновспашке.

Ночью я добрался до райцентра. А утром решил: поеду на автобусе. Все было кончено, потеряно. Но надо жить и работать, а дальше — кто его знает...

Тянь-Шаньский тракт, как всегда, гудел. Машины шли вереницами, но я высматривал свою, автобазовскую. Наконец я поднял руку.

Машина с разгона проскочила мимо, потом резко затормозила. Я подхватил чемодан, шофер вышел из кабины. Смотрю, однополчанин Эрмек, стажировку проходил у меня в армии. Тогда он был юнцом. Эрмек молча стоял, как-то неуверенно улыбаясь.

— Не узнаешь?

— Сержант... Ильяс! Ильяс Алыбаев! — наконец припомнил он.

— Тот самый! — усмехнулся я, а самому горько стало: значит, крепко изменился, если люди с трудом узнают.

Поехали, разговаривали о том о сем, вспоминали службу. Я все время боялся: только бы не начал он расспрашивать о моей жизни. Но Эрмек, видимо, ничего не знал. Я успокоился.

— Когда вернулся домой?

— Да вот уже два года как работаю.

— А где Алибек Джантурин?

— Не знаю. Я его не застал. Говорят, он теперь главным механиком автобазы где-то на Памире...

«Молодец, Алибек! Молодец, друг мой! Крепкий ты джигит!» — порадовался я в душе. Стало быть, добился все-таки своего, он еще в армии заочно учился в автодорожном техникуме и институт собирался заочно кончить.

— Начальником Аманжолов?

— Нет, новый. Аманжолов на повышение пошел в министерство.

— Как думаешь, возьмут меня на работу?

— Почему же нет, возьмут, конечно. Первоклассный шофер, ты ведь и в армии был на хорошем счету.

— Был когда-то! — пробормотал я.— А Джантая знаешь?

— Нет у нас такого. Никогда и не слышал.

«Да, немало изменений произошло на автобазе...» — подумал я, а потом спросил:

— А как с прицепами, ходите через перевал?

— Обыкновенно,— просто ответил Эрмек.— Смотря какой груз. Надо, так оборудуют — и тянешь. Машины сейчас мощные.

Не знал он, чего стоили мне эти прицепы.

В общем, вернулся я на свою родную автобазу. Эрмек пригласил к себе домой, угостил, выпить предложил по случаю встречи. Но я отказался, давно уже не пил.

На автобазе тоже неплохо встретили. Товарищам, знавшим меня, я был очень благодарен за то, что не докучали расспросами. Видят, человек помотался на стороне, вернулся, работает добросовестно, ну и хорошо. Зачем тревожить былое? Я сам старался забыть все, забыть раз и навсегда. Мимо перевалочной базы, где жил когда-то семьей, я проносился, не глядя по сторонам и даже не заправляясь у бензоколонки. И, однако, ничто меня не спасло, не сумел я обмануть себя. Я уже работал порядочное время, пообвык, машину прощупал, мотор испробовал на всех скоростях и подъемах. Короче говоря, знал свое дело...

В тот день я шел обратным рейсом из Китая. Ехал спокойно, ни о чем не думал, крутил себе баранку, смотрел по сторонам. Весна, хорошо было вокруг. Кое-где поодаль ставили юрты: скотоводы выходили на весенние пастбища. Потянулись над юртами сизые дымки. Ветер доносил беспокойное ржанье лошадей. Отары бродили близ дороги. Вспомнилось раннее детство, взгрустнулось... И вдруг на выезде к озеру вздрогнул — лебеди!

Второй раз в жизни довелось мне увидеть весенних лебедей на Иссык-Куле. Над синим-синим Иссык-Кулем кружили белые птицы.

Сам не знаю почему, я круто свернул с дороги и, как в тот раз, прямо по целине повел машину к озеру.

Иссык-Куль, Иссык-Куль — песня моя недопетая!.. Зачем я вспомнил тот день, когда на этом же взгорье, над самой водой, мы остановились вместе с Асель? Да, все было так же: сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег. Солнце закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Лебеди носились с ликующими тревожными криками. Взмывали вверх, падали на распластанных, будто гудящих крыльях, взбивая воду, разгоняя широкие кипящие круги. Да, все было так же. Только не было со мной Асель. Где ты теперь, тополек мой в красной косынке?

Я долго стоял на берегу. Потом вернулся на автобазу и не удержался, сорвался... Опять пошел в чайную заливать разбередившуюся боль в душе. Уходил поздно. Небо было темное, в тучах. Ветер дул из ущелья, как из трубы, свирепо гнул деревья, свистел в проводах, бил в лицо крупной галькой. Ухало, стонало озеро. Я с трудом добрался до общежития и, не раздеваясь, завалился спать.

Утром не мог поднять голову, ломило с похмелья. За окном моросил противный дождь вперемешку со снегом. Пролежал часа три, не хотелось выходить на работу. Первый раз случилось так — даже работа была не в радость. Но потом устыдился, выехал.

Машина шла вяло, вернее, я был вялым, и погода никудышная. На встречных машинах лежал снег; выходит, выпал на перевале.

Ну и пусть, мне-то что, хоть буран разыграется, наплевать, бояться мне нечего, один конец...

Уж очень скверное было настроение. Гляну в зеркальце наверху, с души воротит: небритый, лицо отекшее, измятое, как после болезни. Мне бы перекусить что-нибудь по пути, с утра ничего не ел, но есть не хотелось, тянуло выпить. Известно, дашь себе один раз волю, потом трудно удержаться. Остановился у закусочной. После первого стакана я приободрился, пришел в себя. Машина пошла веселей. Потом еще где-то по дороге забежал, выпил сто граммов, потом еще прибавил. Понеслась дорога, заходили щетки взад и вперед перед глазами. Пригнулся я, жую сигарету в зубах. Только вижу, как пролетают встречные машины, обдавая стекла брызгами из луж. Я тоже поднажал, поздно уже было. Ночь застала меня в горах, глухая, беспросветная. Вот тут-то сказалась водка. Разморило. Уставать стал. Перед глазами пошли черные пятна. В кабине было душно, мутить начало меня. Никогда еще я не был так сильно пьян. Пот заливал лицо. Чудилось мне, что еду не на машине, а качусь куда-то на двух бегущих впереди лучах, устремленных из фар. Вместе с лучами я то круто падал вниз, в глубокую освещенную падь, то выбирался вверх на дрожащих, скользящих по скалам огнях, то начинал петлять вслед за лучами по сторонам. Силы покидали меня с каждой минутой, но я не останавливался, знал, стоит только оторвать руки от баранки, и я не смогу вести машину. Где я ехал, точно не помню, где-то на пере-

вале. Ох, Долон, Долон, тянь-шаньская махина! Ну и тяжел же ты! Особенно ночью, особенно для нетрезвого шофера!

Машина с натугой выбралась за какой-то подъем и покатила вниз, под гору. Закружилась, опрокинулась ночь перед глазами. Руки уже не подчинялись мне. Все больше набирая скорость, полетела машина по дороге вниз. Потом раздался глухой удар, скрежет, фары вспыхнули, и темнота залила мне глаза. Где-то в глубине сознания кольнула мысль: «Авария!»

Сколько я пролежал так, не помню. Только услышал вдруг голос, словно бы издалека, как через вату в ушах: «Ну-ка, посвети!» Чьи-то руки ощупали мою голову, плечи, грудь. «Живой, пьяный только»,— сказал голос. Другой ответил: «Надо дорогу освободить».

— Ну-ка, друг, попробуй немного подвинуться, отгоним машину.— Руки легонько толкнули меня в плечо.

Я застонал, с трудом поднял голову. Со лба стекала по лицу кровь. В груди что-то мешало выпрямиться. Человек чиркнул спичкой. Глянул на меня. Потом еще раз чиркнул и снова глянул, будто глазам не верил...

— Ты что же это, друг! Как же это, а? — с огорчением проговорил он в темноте.

— Машина... здорово побита? — спросил я, сплевывая кровь.

— Нет, не очень. Закинуло вот только поперек дороги.

— Ну, так я уеду сейчас, пустите! — Непослушными, дрожащими руками я попытался включить зажигание и нажать стартер.

— Погоди! — крепко обхватил меня человек.— Хватит баловаться. Вылезай. Переспишь ночь, а утром видно будет...

Меня вытащили из кабины.

— Отгоняй машину на обочину, Кеме́ль, там разберемся!

Он перекинул мою руку через плечо и потащил меня в темноте куда-то в сторону. Мы шли долго, пока добрались до какого-то двора. Человек помог мне войти в дом. В передней комнате горела керосиновая лампа. Человек посадил меня на табуретку, принялся стаскивать полушубок. И тогда я посмотрел на него. И вспомнил. Это был дорожный мастер Байтемир, тот самый, с которым мы буксировали когда-то машину на перевале. Стыдно стало, и все-таки я обрадовался, хотел было извиниться, поблагодарить его, но в это время грохот упавших на пол поленьев заставили меня обернуться. Я глянул и медленно, с усилием привстал с места, будто на плечи мне свалилось что-то непомерно тяжелое. В дверях возле рассыпанных дров стояла Асель. Она стояла неестественно прямая и как неживая смотрела на меня.

— Что это? — тихо прошептала она.

Я чуть было не крикнул «Асель!», но ее отчужденный, неподпускающий взгляд не дал проронить ни слова. Сгорая от позора, я опустил голову. В комнате на мгновение стало до жути тихо. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не Байтемир. Он как ни в чем не бывало опять усадил меня на место.

— Ничего, Асель,— спокойно сказал он.— Разбился немного шофер, отлежится... Ты бы лучше йод нам дала.

— Йод? — Голос ее потеплел, встревожился.— Йод соседи брали... Я сейчас! — спохватилась она и выбежала из дверей.

Я сидел, не двигаясь, прикусив губы. Хмель точно вышибло из головы, протрезвел в мгновение ока. Только кровь с шумом колотилась в висках.

— Обмыть надо сначала,— сказал Байтемир, разглядывая ссадины на моем лбу. Он взял ведро и вышел.

Из соседней комнаты выглянул босоногий мальчик лет пяти в одной рубашонке. Он смотрел на меня большими любопытными глазами. Я сразу узнал его. Не пойму как, но узнал, сердце мое узнало.

— Самат! — сдавленным голосом прошептал я и потянулся к сыну.

В это время Байтемир появился в дверях, и я почему-то испугался. Он, кажется, услышал, как я назвал сына по имени. Стало очень неловко, будто поймали меня, как вора. Чтобы загладить смущение, я вдруг спросил, прикрывая рукой ссадину над глазом:

— Это ваш сын? — Ну зачем мне надо было так спрашивать? До сих пор не могу простить себе.

— Мой! — по-хозяйски уверенно ответил Байтемир. Поставил ведро на пол, поднял Самата на руки.— Мой, конечно, собственный, так ведь, Самат? — приговаривал он, целуя мальчонку и щекоча его шею усами. В голосе и поведении Байтемира не было ни тени фальши.— Ты почему не спишь? Ух, ты, мой жеребенок, все тебе надо знать, ну-ка, беги в постель!

— А мама где? — спросил Самат.

— Сейчас придет. Вот она. Ты иди, сынок.

Асель вбежала, молча окинула нас быстрым, настороженным взглядом, подала Байтемиру пузырек с йодом и увела сынишку спать.

Байтемир намочил полотенце, вытер кровь с моего лица.

— Терпи! — пошутил он, прижигая ссадины, и строго сказал: — Прижечь бы тебя за такое дело покрепче, да ладно, гость ты у нас... Ну вот и порядок, заживет. Асель, нам бы чайку.

— Сейчас.

Байтемир постелил на кошму ватное одеяло, положил подушку.

— Пересаживайся сюда, отдохни немного,— сказал он.

— Ничего, спасибо! — пробормотал я.

— Садись, садись, будь как у себя дома,— настаивал Байтемир.

Я делал все как во сне. Сердце будто кто-то зажал в груди. Все во мне напряглось в тревоге и ожидании. Эх, зачем только родила меня мать на свет!

Асель вышла и, стараясь не смотреть на нас, взяла самовар, унесла во двор.

— Я сейчас помогу тебе, Асель,— сказал вслед Байтемир. Он пошел было за ней, но Самат снова прибежал. Он совсем не собирался спать.

— Ты что, Самат? — добродушно покачал головой Байтемир.

— Дядя, а ты прямо из кино вышел? — серьезно спросил меня сын, подбегая поближе.

Я смекнул, в чем дело, а Байтемир расхохотался.

— Ах ты, несмышленыш мой! — смеялся Байтемир, опустившись возле малыша на корточки.— Уморил... Мы ездим на рудник кино смотреть,— обернулся он ко мне.— Ну и он с нами...

— Да, я из кино вышел! — поддержал я общее веселье.

Но Самат нахмурился.

— Неправда! — заявил он.

— Почему же неправда?

— А где сабля, которой ты сражался?

— Оставил дома...

— А ты мне покажешь? Завтра покажешь?

— Покажу. Ну-ка, иди сюда. Как тебя звать, Самат, да?

— Самат. А тебя как, дядя?

— Меня...— Я умолк.— Меня — дядя Ильяс,— с трудом выдавил я.

— Ты иди, Самат, ложись, поздно уж! — вмешался Байтемир.

— Папа, можно, я немножко побуду? — попросил Самат.

— Ну ладно! — согласился Байтемир.— А мы сейчас чай принесем.

Самат подошел ко мне. Я погладил его руку: он был похож на меня, очень похож. Даже руки были такие же, и смеялся он так же, как я.

— Ты кем будешь, когда вырастешь? — спросил я, чтобы как-то завязать разговор с сыном.

— Шофером.

— Любишь ездить на машине?

— Очень-очень... только меня никто не берет, когда я поднимаю руку...

— А я покатаю тебя завтра. Хочешь?

— Хочу. Я тебе альчи́ки[1] дам свои! — Он побежал в комнату за альчиками.

За окном выбивались из самоварной трубы языки пламени. Асель и Байтемир о чем-то разговаривали.

Самат принес альчики в мешочке из шкуры архара[2].

— Выбирай, дядя! — рассыпал он передо мною свое разноцветное, крашеное хозяйство.

Я хотел взять один альчик на память, но не посмел. Дверь распахнулась, и вошел Байтемир с кипящим самоваром в руках. Вслед за ним появилась Асель. Она принялась заваривать чай, а Байтемир поставил на кошму круглый столик на низеньких ножках, накрыл скатертью. Мы с Саматом собрали альчики, положили их обратно в мешочек.

— Богатство свое показывал, ох и хвастунишка ты! — ласково потрепал Байтемир за ухо Самата.

Через минуту мы все уже сидели за самоваром. Я и Асель делали вид, будто никогда не знали друг друга. Мы старались быть спокойными и, наверно, поэтому больше молчали. Самат, примостившись на коленях Байтемира, льнул к нему, вертел головой.

— У-ух, всегда у тебя усы колются, папа! — и сам же лез, подставляя под усы щеки.

---

[1] Альчики — детские игральные кости (бабки).

[2] Архар — дикий баран.

Нелегко мне было сидеть рядом с сыном, не смея его так назвать и слушая, как он называет отцом другого человека. Нелегко знать, что Асель, моя любимая Асель, вот тут рядом, а я не имею права прямо взглянуть ей в глаза. Как она очутилась здесь? Полюбила и вышла замуж? Что я мог узнать, если она даже не подавала вида, будто знает меня, словно я был совершенно чужим, незнакомым человеком? Неужели она так возненавидела меня? А Байтемир? Разве он не догадывается, кто я на самом деле? Разве он не заметил нашего сходства с Саматом? Почему он даже не вспомнил о встрече на перевале, когда мы буксировали машину? Или вправду забыл?

Еще тяжелей стало, когда легли спать. Постелили мне тут же на кошме. Я лежал, отвернувшись к стене, лампа была чуть пригашена. Асель убирала посуду.

— Асель! — тихо позвал ее Байтемир через раскрытую дверь смежной комнаты.

Асель подошла.

— Ты бы постирала.

Она взяла мою клетчатую рубашку, которая была вся в крови, и принялась стирать. Но тут же прекратила стирку. Слышу, прошла к Байтемиру.

— А воду из радиатора слили? — тихо спросила она. — Вдруг мороз прихватит...

— Слили, Кемель слил! — так же тихо ответил Байтемир. — Машина почти в целости... Утром поможем...

А я и забыл: не до радиаторов, не до моторов мне было.

Асель достирала рубашку и, развешивая ее над плитой, тяжко вздохнула. Потушила лампу, ушла.

Стало темно. Я знаю, мы все не спали. Каждый из нас остался наедине со своими мыслями. Байтемир лежал с сыном на одной кровати. Он бормотал что-то ласковое, то и дело прикрывал Самата, когда тот беспокойно ворочался во сне. Асель изредка сдержанно вздыхала. Мне казалось, я видел в темноте ее глаза, влажно поблескивающие. Они, наверно, были залиты слезами. О чем она думала, о ком она думала? Нас было теперь у нее трое... Может быть, и она перебирала в памяти так же, как я, все то прекрасное и горестное, что связывало нас. Но теперь она была недоступна, недоступны были и ее мысли. Асель изменилась за эти годы, глаза ее изменились... Это были уже не те доверчивые, сияющие чистотой и простодушием глаза. Они стали строже. И все-таки Асель оставалась для меня все той же, тем же топольком степным в красной косынке. В каждой ее черте, в каждом движении я угадывал знакомое, родное. Тем горше, тем обидней и мучительней было у меня на душе. В отчаянии, прикусив зубами угол подушки, я лежал, не сомкнув глаз до утра.

За окном в набегающих тучах плыла, ныряла луна.

Ранним утром, когда Асель и Байтемир вышли во двор по хозяйству, я тоже встал. Надо было уезжать. Осторожно ступая, я подошел к Самату, поцеловал его и быстро вышел из комнаты.

Асель грела во дворе воду в большом котле, установленном на камнях. Байтемир колол дрова. Мы отправились с ним к машине. Шли молча, курили.

Машина, оказывается, натолкнулась вчера на придорожные надолбы. Две из них лежали сбитые вместе с бетонным основанием. У машины была разбита фара, погнуто крыло и передок, заклинило колесо. Все это мы кое-как выправили с помощью лома и молотка. А потом началась долгая, мучительная работа. Промерз мотор, занемел. Разогревали картер горячей паклей, в две руки крутили заводную рукоятку. Наши плечи соприкасались, ладони горели на одной рукоятке, мы дышали в лицо друг другу, мы делали одно дело и, может быть, думали об одном и том же.

Мотор поддавался туго. Мы начали задыхаться. Тем временем Асель принесла два ведра горячей воды. Молча поставила передо мной, отошла в сторону. Я вылил воду в радиатор. Крутанули с Байтемиром раз, еще раз, наконец мотор заработал. Я сел в кабину. Мотор работал неровно, с перебоями. Байтемир полез с молотком под капот проверить свечи. В этот момент прибежал Самат, запыхавшийся, в пальтишке нараспашку. Он забегал вокруг машины, прокатиться хотелось ему. Асель поймала сына и, не выпуская, стала у кабины. Она посмотрела на меня с укором, с такой болью и жалостью, что я готов был в ту минуту сделать все, что угодно, лишь бы искупить вину, вернуть их себе. Я пригнулся к ней из раскрытой дверцы.

— Асель! Бери сына, садись! Увезу, как

тогда, навсегда! Садись! — взмолился я под шум мотора.

Асель ничего не сказала, тихо отвела в сторону затуманенные слезами глаза, отрицательно покачала головой.

— Поедем, мама! — потянул ее за руку Самат.— Покатаемся!

Она шла, не оглядываясь, низко опустив голову. А Самат порывался назад, не хотел уходить.

— Готово! — крикнул Байтемир, захлопнул капот, подал мне в кабину инструмент.

И я поехал. Снова баранка в руках, снова дорога и горы — машина уносила меня, какое ей было дело...

Так я нашел Асель с сыном на перевале, так мы встретились и расстались. Всю дорогу к границе и обратно я думал и ничего не мог придумать. Устал от безысходных дум... Теперь уж надо было уезжать, уезжать куда глаза глядят, я не должен был здесь оставаться.

Это я решил твердо, с такими мыслями возвращался назад. Проезжая мимо дорожного участка, увидел Самата, он играл в стороне с мальчиком и девочкой чуть постарше себя в таш-каргóн — строили из камней дворики, загоны для скота. Может быть, я и раньше замечал их у дороги... Выходит, почти каждый день проезжал неподалеку от своего сына, даже не подозревая об этом. Я остановил машину.

— Самат! — крикнул я. Взглянуть захотел на него. Дети понеслись ко мне.

— Дядя, ты приехал покатать нас? — подбежал Самат.

— Да, чуть-чуть прокачу! — сказал я.

Ребята дружно полезли в кабину.

— Это наш знакомый дядя! — похвалился Самат перед друзьями.

Я провез их совсем немного, но сколько счастья и радости испытал при этом, пожалуй, больше, чем сами дети. А потом высадил их.

— Бегите теперь домой!

Ребята побежали. Я остановил сына.

— Постой, Самат, что-то скажу! — поднял его на руки, высоко вскинул над головой, долго смотрел сыну в лицо, потом прижал к груди, поцеловал и опустил на землю.

— А где сабля, ты привез, дядя? — вспомнил Самат.

— Ох, я и забыл, сынок, привезу в следующий раз! — пообещал я.

— Теперь не забудешь, да, дядя? Мы будем играть на том же месте.

— Хорошо, беги теперь быстрей!

На автобазе в плотницкой мастерской я выстругал три игрушечные сабли и захватил их с собой.

Дети действительно ждали меня. Я снова прокатил ребят в машине. Так началась дружба с сыном и его товарищами. Они быстро привыкли ко мне. Еще издали бежали к дороге наперегонки:

— Машина, наша машина идет!

Ожил я, человеком стал. Иду в рейс, и на душе светло: какое-то хорошее чувство везу с собой. Знаю, ждет меня сын у дороги. Хоть две минуты посижу рядом с ним в кабине. Теперь все мои заботы и помыслы были о том, как вовремя подоспеть к сыну. Я так рас-

считывал время, чтобы проезжать перевал днем. Дни стояли теплые, весенние, дети постоянно играли на улице, так что я часто заставал их у дороги. Мне казалось, что ради этого только живу и работаю, до того я был счастлив. Но иногда сердце замирало от страха. Может быть, там, на дорожном участке, знали, что я катаю детей, может, нет, но сыну могли запретить встречаться со мной, не отпускать его к дороге. Я очень боялся, молил в душе Асель и Байтемира не делать этого, не отбирать у меня хотя бы этих коротеньких встреч. Но однажды так оно и случилось...

Приближалось Первое мая. Я решил сделать сыну подарок к празднику. Купил заводную машину, грузовичок. В тот день я замешкался на автобазе, выехал позднее и очень спешил. Может быть, поэтому у меня было какое-то нехорошее предчувствие, волновался, тревожился без всякого повода. Подъезжая к дорожному участку, я достал сверток, положил с собой, представляя, как обрадуется Самат. Игрушки у него были и получше, но это особый подарок — от знакомого шофера с дороги мальчугану, мечтающему стать шофером. Однако Самата в этот раз на дороге не оказалось. Ребята подбежали без него. Я вышел из кабины.

— А где Самат?

— Дома, заболел он,— ответил мальчик.

— Заболел?

— Нет, он не заболел! — со знающим видом пояснила девочка.— Мама не пускает его сюда!

— Почему?

— Не знаю. Говорит, нельзя.

Я помрачнел: вот и конец всему.

— На, отнеси,— подал я было мальчику сверток, но тут же раздумал.— Или нет, не надо.— Взял назад, понуро пошел к машине.

— А почему дядя не катает нас? — спросил мальчик у сестры.

— Он болен,— хмуро ответила она.

Да, угадала девочка. Хуже всякой болезни скрутило меня. Всю дорогу раздумывал я, как могло получиться, что Асель до того ожесточилась на меня. Неужели в ней не осталось ни капли хотя бы жалости, какой бы я ни был плохой? Нет, не верилось мне... Не походило это на Асель, тут что-то другое. А что? Откуда мне знать... Я старался уверить себя, что сын и правда приболел немного. Почему я не должен верить мальчику? Я так убедил себя в этом, что стало мерещиться, как мечется сын в жару и бреду... А вдруг надо помочь чем-нибудь, лекарство какое достать или повезти в больницу? Люди-то живут на перевале, а не на проспекте городском! Просто измучился, извелся. Спешил назад, не представлял, что могу сделать, как поступить, знал лишь одно: скорее увидеть сына, скорее. Я верил, что встречу его, сердце мне подсказывало. И как назло, кончилось горючее в баке, пришлось остановиться у бензоколонки на перевалочной базе...

Мой попутчик Ильяс замолчал. Потирая ладонью разгоряченное лицо, тяжело вздохнул, поднял до отказа окно и снова, в который раз, закурил.

Время было уже далеко за полночь. Кроме нас, в поезде наверно, все спали. Колеса выстукивали на рельсах свою бесконечную дорожную песню. За окнами бежала светлеющая летняя ночь, мелькали огоньки полустанков. Паровоз зычно гудел на бегу.

— Вот тут вы подошли ко мне, агай, и я отказал вам. Теперь понятно почему? — задумчиво усмехнулся мой сосед.— Вы остались у бензоколонки, потом обогнали меня на «Победе». Это я заметил... Да, ехал, волновался страшно. Предчувствие не обмануло меня — Самат ждал у дороги. Завидев машину, побежал наперерез:

— Дядя! Дядя шофер!..

Здоров мой мальчик! Ох как я обрадовался, в охапку не вместить было моего счастья!

Я остановился, выскочил из кабины, побежал навстречу сыну.

— Ты что, болел?

— Нет, мама не пускала. Она говорит, чтобы я не катался на твоей машине. А я плакал,— пожаловался Самат.

— Ну, а как же ты пришел сейчас?

— А папа сказал, что если хочется человеку катать детей, то пусть катает.

— Вот как?

— А я сказал, что буду шофером...

— Да, ты и будешь, еще каким! А знаешь, что я привез тебе? — Я достал игрушечную машину.— Смотри, заводной грузовик, самое что ни есть подходящее для маленьких шоферов?

Мальчик заулыбался, засиял.

— Я всегда-всегда буду ездить с тобой,

да, дядя? — глянул он на меня просительными глазами.

— Конечно, всегда! — заверил я его.— А хочешь, поедем со мной на Первое мая в город, мы машину флажками украсим, а потом я тебя привезу.

Трудно сейчас объяснить, почему я так сказал, какое имел право и, главное, почему я сам вдруг поверил в это. Мало того, я пошел дальше.

— А если понравится, останешься у меня насовсем! — предложил я сыну самым серьезным образом.— Мы будем жить в кабине, я тебя везде буду возить с собой и никуда не отпущу, не расстанусь. Хочешь?

— Хочу! — сразу согласился Самат.— Мы будем жить в машине! Поедем, дядя, поедем сейчас!..

Бывает, что и взрослый вроде ребенка становится. Мы сели в кабину. Я неуверенно включил зажигание, нажал на стартер. А Самат рад, теребит меня, ласкается, подпрыгивает на сиденье. Машина пошла. Самат обрадовался еще больше, смеется, говорит мне что-то, показывает на руль, на кнопки приборной доски. И я вместе с ним развеселился. Но опомнился, в жар кинуло. Что я делаю?! Притормозил, однако Самат не дал мне остановиться.

— Быстрей, дядя, быстрей поехали! — просил он.

Как мне было отказать детским счастливым глазам? Я прибавил газу. Только разогнались, как впереди показался грейдер, подновляющий шоссе. Грейдер развернулся, пошел навстречу, а за ним в конце загона

стоял Байтемир. Он перелопачивал грабаркой гудрон на развороте. Я растерялся. Хотел остановиться, но было уже поздно: далеко увез мальчишку. Я пригнулся пониже и отчаянно газанул. Байтемир ничего не заметил. Он работал, не поднимая головы: мало ли машин проходит каждую минуту. Но Самат увидел его:

— А вон папа! Дядя, давай возьмем и папу, а? Останови, я позову папу!

Я молчал. Остановиться теперь было невозможно, что я скажу! Самат вдруг оглянулся назад, перепугался, закричал, заплакал:

— Я хочу к папе! Останови, я хочу к папе! Останови, не хочу! Ма-ма!..

Я затормозил, заводя машину за скалу на повороте. Бросился успокаивать сына:

— Не плачь, Самат, ну, не надо! Я сейчас отвезу тебя обратно. Только не плачь!

Но перепуганный мальчик ничего не хотел знать.

— Нет, не хочу! Я к папе! Открой! — заколотил он в дверцу.— Открой, я побегу к папе! Открой!

Вот ведь какая оказия приключилась.

— Да ты не плачь! — умолял я.— Сейчас открою, только успокойся! Я сам отведу тебя к папе. Ну, выходи, пойдем!

Самат спрыгнул на землю и с плачем побежал назад. Я задержал его:

— Постой! Вытри слезы. Не надо плакать. Я прошу тебя, сынок мой родимый, не плачь! А машину свою, что ж ты, а? Смотри! — Я схватил игрушку, дрожащими руками закрутил завод.— Смотри, как она побежит к тебе, лови! — Машина покатилась по дороге,

наткнулась на камень, опрокинулась и кувырком полетела в кювет.

— Не хочу! — пуще прежнего залился Самат и побежал от меня без оглядки.

Горячий ком подкатил к горлу. Я пустился догонять сына:

— Постой, да ты не плачь, Самат! Постой, я твой... я твой... Ты знаешь!.. — но язык не повернулся сказать.

Самат убегал не оглядываясь, скрылся за поворотом. Я добежал до скалы, остановился, глядя вслед сыну.

Я видел, как Самат подбежал к работающему на дороге Байтемиру и бросился к нему. Байтемир присел, обнял его, прижал к себе. Мальчик тоже обнял его за шею, пугливо поглядывая в мою сторону.

Потом Байтемир взял его за руку, перебросил грабарку через плечо, и они пошли по дороге — большой и маленький человек.

Я долго стоял, притулившись к скале, затем повернул назад. Остановился возле игрушечной машинки. Она лежала в кювете колесами вверх. Слезы потекли по моему лицу. «Ну, вот и все!» — сказал я своей большой машине, поглаживая ее по капоту. Меня обдало тепло мотора. Что-то родное было теперь даже в машине, свидетельнице моего последнего свидания с сыном...

Ильяс поднялся, направился в коридор.

— Подышу свежим воздухом, — сказал он в дверях.

Я остался в купе. Предрассветное небо белеющей полосой качалось за окном. Смут-

но мелькали телеграфные столбы. Можно было погасить свет.

Я лежал на полке и думал, рассказать ли Ильясу то, что мне было уже известно и чего он не знал? Но он не появлялся. Так я ему ничего и не рассказал.

С дорожным мастером Байтемиром мне довелось познакомиться в то время, когда Ильяс уже знал, что Асель и его сын живут на перевале.

На Памир ждали делегацию дорожных работников Киргизии. В связи с этим таджикская республиканская газета поручила мне написать очерк о киргизских горных дорожниках.

В числе делегатов был Байтемир Кулов, один из лучших дорожных мастеров.

Я приехал на Долон, чтобы познакомиться с Байтемиром.

Встретились мы неожиданно и поначалу очень удачно для меня. Где-то на самом перевале наш автобус остановил рабочий с красным флажком в руке. Оказывается, только что произошел обвал, и теперь ремонтники расчищали дорогу. Я вышел из автобуса, направился к месту обвала. Участок уже был взят в прочные опалубки. Бульдозер сбрасывал землю под откос. Там, где он не мог развернуться, орудовали рабочие с лопатами в руках. Человек в брезентовом плаще и кирзовых сапогах шагал вместе с бульдозером и подавал команду трактористу:

— Возьми левей! Зайди еще разок! Пройдись над опалубкой! Так! Стоп! Назад!..

Дорога была почти восстановлена, проезд расчищен. Шоферы с двух сторон отчаянно сигналили, ругались, требуя открыть путь, а человек в плаще, не обращая внимания, спокойно распоряжался. Он снова и снова заставлял бульдозер прохаживаться по дороге, приминать грунт в опалубке. «Это, наверно, и есть Байтемир. Хозяин своего дела!» — решил я. И не ошибся, это оказался Байтемир Кулов. Наконец путь был открыт, машины разъехались.

— А вы что же, автобус-то ушел? — сказал мне Байтемир.

— А я к вам!

Байтемир не показал своего удивления. Просто и с достоинством пожал мне руку:

— Рад буду гостю.

— У меня к вам дело, Баке,— обратился я, называя его уменьшительным именем.— Вы знаете, что наши дорожники должны поехать в Таджикистан?

— Слышал.

— Так вот, перед вашим отъездом на Памир я хотел поговорить.

По мере того как я объяснял цель своего приезда, Байтемир все больше хмурился, задумчиво поглаживая жесткие бурые усы.

— Что вы приехали, это хорошо,— сказал он,— но на Памир я не поеду, и писать обо мне не стоит.

— А почему? Дела? Или дома что?

— Дела какие — дорога. Сами видите. А дома? — Он примолк, доставая папиросы.— Дома... тоже, конечно, дела, как у всех, семья... Однако на Памир я не поеду.

Я принялся убеждать его, разъяснять, как важно, чтобы в составе делегации был такой дорожный мастер, как он. Байтемир слушал больше из вежливости, уговорить его мне так и не удалось.

Я был очень раздосадован, и прежде всего на себя. Изменило мне профессиональное чутье, не так я подошел к этому человеку. Мне предстояло уехать ни с чем, не выполнив задания редакции.

— Что ж, Баке, извините, я поеду. Подойдет сейчас какая-нибудь попутная машина...

Байтемир внимательно посмотрел на меня спокойными, умными глазами, улыбнулся в усы.

— Городские киргизы забывают обычай. У меня есть дом, семья, дасторкон[1] и ночлег. Раз вы приехали ко мне, уедете завтра из дома, а не с дороги. Пойдемте, я отведу вас к жене и сыну. Не обижайтесь, мне еще обход надо сделать засветло. Я быстро вернусь. Работа такая...

— Погодите, Баке,— попросил я.— Пойду-ка и я вместе с вами в обход.

Байтемир лукаво прищурился, оглядывая мой городской костюм.

— Да вроде бы неудобно вам бродить со мной. Концы далекие, пути крутые.

— Ничего!

И мы пошли. Останавливались возле каждого моста, поворота, возле обрывов и нависающих скал. Естественно, мы разговорились.

---

[1] Дасторкон — праздничная скатерть с угощением для гостя.

До сего времени для меня загадка, с чего, с какого слова началось, каким образом я завоевал доверие и симпатию Байтемира. Он рассказал мне всю свою историю и историю своей семьи.

РАССКАЗ ДОРОЖНОГО МАСТЕРА

Вы спросили, почему я не желаю ехать на Памир. Я сам памирский киргиз, а очутился здесь, на Тянь-Шане. Чуть ли не мальчишкой попал я на строительство Памирского тракта. Пошел по комсомольскому призыву. Работали мы горячо, с охотой, особенно молодежь. Еще бы, дорога шла на недоступный Памир! Вышел я в ударники, получал премии, награды. Но это так, к слову.

Там, на стройке, встретил я одну девушку. Полюбил ее, крепко полюбил. Была она хороша и умна. Пришла из аила на стройку; в ту пору для киргизской девушки это была не простая задача. И сейчас не так легка девичья дорога, сами знаете, обычаи еще сковывают. Прошло около года. Строительство тракта подходило к концу. Нужны были кадры для эксплуатации дороги. Построить — полдела, это можно одолеть общими силами, а вот потом следить надо за дорогой умеючи. Был у нас один молодой инженер — Хусаинов, он и сейчас по дорожной части, крупный работник. Дружили мы с ним. Хусаинов и надоумил меня поехать на курсы. Думал я, не дождется Гульбара, увезут ее в аил, но нет дождалась. Мы поженились и остались там, на дорожном участке. Жили хорошо, дружно.

Надо сказать, для дорожников, живущих в горах, на перевалах, крепкая семья, жена особенно много значат. Позднее я испытал это на себе. И если я полюбил на всю жизнь свою работу, то немалая заслуга в этом была жены. Родилась у нас девочка, а потом вторая, и тут как раз грянула война.

Памирский тракт стал как река во время ливня. Хлынул народ вниз — уходил в армию.

Мне тоже пришел черед. Утром мы все вышли из дому к дороге. Маленькую дочурку я нес на руках, старшенькая шла рядом, уцепившись за меня. Гульбара моя, бедная Гульбара! Она крепилась, старалась быть спокойной, несла мой походный мешок, но я-то знал, каково ей оставаться в безлюдных горах, на дорожном участке с двумя малыми детьми. Я собирался отправить их в аил, к своим родственникам, но Гульбара не захотела. «Перебьемся,— говорит,— будем ждать тебя, да и дорогу нельзя оставить без присмотра...» Последний раз мы стояли у обочины шоссе, я смотрел на жену, на детей, прощался. Совсем-совсем молодыми были мы тогда с Гульбарой, только начинали жить...

Попал я в саперный батальон. Сколько понаделали мы на военной земле дорог, переправ, мостов! Счету нет! Через Дон, через Вислу и Дунай шли. Стынешь, бывало, в ледяной воде, горишь в дыму и пламени, снаряды рвутся кругом, разносят переправу, люди гибнут, и уж сил нет никаких, убили бы, что ли, поскорей! Но как вспомнишь своих, что ждут в горах, и откуда только силы бе-

рутся. Нет, думаешь, не затем я пришел с Памира, чтобы погибнуть здесь под мостом. Зубами крутил проволоку на разъезжающихся крепях, не сдавался... И не погиб, дошел почти до Берлина.

Жена мне писала часто, благо почта мимо по тракту шла. Писала все подробно, и о дороге тоже — она осталась мастером вместо меня. Знал, тяжело ей, дорога-то не где-нибудь, а на Памире.

Только весной сорок пятого перестал я вдруг получать вести. «Ну, известно, на фронте все бывает»,— успокаивал себя. И вот однажды вызывают меня в штаб полка. Так и так, мол, старшина, повоевал, благодарность тебе, награды. Возвращайся домой, ты там сейчас нужнее. Я, конечно, обрадовался. Телеграмму даже послал. На радостях и не задумался над тем, почему меня отпустили домой раньше срока...

Прибыл я в свои места, в военкомат не стал заезжать, успеется, никуда не денусь. Домой! Домой скорее! Встретилась попутная полуторка, и двинул я вверх по Памирскому тракту.

Крылья бы мне, привык на фронтовых машинах разъезжать, кричу шоферу в кабину:

— Поднажми, браток, не жалей ты свою дребезжалку! Домой еду!

И вот уже близко. За поворотом мой участок. Не утерпел. Спрыгнул на ходу с машины, вещмешок за плечо — и бегом. Бегу, бегу, миновал поворот и... не узнаю ничего. Все будто на месте. И горы стоят там же и дорога та же, только нет жилья. Ни

души кругом. Одни только камни лежат навалом. Двор наш был чуть на отшибе, под самой горой. Места там тесные. Как глянул я на гору — обомлел. Снежная лавина сорвалась с крутизны. Все снесла на своем пути подчистую, ничего не оставила, точно когтистой лапой сорвала землю со склона и далеко вниз по ложбине пропахала огромный овраг. Жена писала в последнем письме, что снегопады были глубокие и вдруг начались дожди. Надо было заранее взорвать лавину, спустить ее, да разве это женское дело...

Вот тебе и встретился со своей семьей! Тысячу раз смотрел смерти в глаза, живой вернулся из ада, а их здесь как не было... Стою и двинуться не могу. Хочу закричать, заорать так, чтоб горы вздрогнули, — не могу. Закаменело во мне все, будто и не живой я уже. Слышу только, вещмешок сползает с плеча и падает у ног. Так я бросил его там, подарки вез дочкам, жене, обменял по пути кое-что из барахла на леденцы... Долго стоял я, все будто ждал какого-то чуда. Потом повернулся и пошел назад. Остановился раз, глянул: горы раскачиваются из стороны в сторону, сдвигаются, наваливаются на меня. Закричал я и пустился бежать. Прочь! Прочь от проклятого места! Вот тогда я и заплакал...

Не помню, как и куда я шел, на третий день очутился на станции. Брожу среди народа как потерянный. Окликнул меня по имени какой-то офицер. Смотрю — Хусаинов, возвращается домой, демобилизовался. Я ему рассказал о своем несчастье. «Куда же, — говорит, — ты теперь?» А я и сам не

знаю! «Нет, — говорит, — не годится так, перетерпи. Не позволю тебе слоняться одному. Поедем-ка на Тянь-Шань строить дорогу, а там видно будет...»

Так я и попал сюда. Первые годы мосты строил на трассе. Время шло, надо было определяться куда-нибудь на постоянное жилье. Хусаинов в то время работал уже в министерстве. Он часто заезжал ко мне, советовал пойти на прежнюю работу дорожным мастером на участок. Я не решался. Страшно было. На стройке я не один, с народом, все легче. А там, кто его знает, пропаду с тоски. Я все не мог прийти в себя, прошлое не забывалось. Будто кончилась на том жизнь и нет ничего впереди. О женитьбе и мыслей не было. Слишком любил я свою Гульбару и детишек. Казалось, что никогда и никто не заменит мне их. А жениться так, лишь бы жить — это не дело. Лучше оставаться одному.

Ну, надумал я все же пойти на участок мастером: попробую, не получится — уеду куда-нибудь. Дали мне участок здесь, на самом перевале. И ничего, постепенно прижился, привык. Может, потому, что участок хлопотливый: перевал. А мне даже лучше. Со временем приутихла боль в душе, притупилась. Иногда только снилось: стою окаменевший перед тем местом, где был двор, и чувствую, как сползает вещмешок с плеча... В такие дни с утра уходил на дорогу и не возвращался домой до позднего вечера. Так я и остался один. Кое-где, правда, шевельнется грустная мысль: «А может, еще будет мне счастье?»

И пришло оно, трудное, мучительное, когда меньше всего я этого ждал.

Как-то раз года четыре назад у соседа мать заболела. Самому ему трудно вырваться из дому: работа, семья, дети, а старушке день ото дня все хуже и хуже. Я и решил показать ее врачам. Пришла как раз на участок машина из дорожного управления, привезла что-то. На ней мы и поехали в город. Врачи хотели было устроить старушку в больницу, да куда там. «Помирать, — говорит, — буду дома, не хочу оставаться. Увози меня, а то прокляну». Так и пришлось везти назад. Время было уже позднее. Миновали перевалочную базу. Вдруг шофер остановил машину. Слышу, спрашивает:

— Куда вам?

Женский голос ответил что-то, послышались шаги.

— Садитесь! — сказал шофер. — Что же вы? — и подогнал машину.

К борту подошла молоденькая женщина с ребенком на руках и с небольшим узелком. Я помог ей забраться в кузов, уступил место у кабины, чтоб ветер поменьше лютовал, сам пристроился в углу.

Мы поехали. Холодина стояла страшная. Ветер дул сырой, промозглый. Ребенок расплакался. Она его укачивала, нянчила, а тот и не думал успокаиваться. Вот беда! В кабину бы ее посадить, да там старуха едва живая. Тогда я притронулся к ее плечу:

— А ну, дайте мне его, может, успокоится, а сами пригнитесь ниже, все ветра меньше.

Я запрятал малыша под полушубок, прижал к себе. Он утих, засопел носиком. Хорошенький такой, месяцев десяти примерно. Я держал его под левым боком. И вдруг ворохнулось мое сердце в груди, сам не знаю почему, забилось, как подбитая птица. Горестно и радостно стало мне. «Эх, неужели никогда не быть мне отцом?» — подумал я. А малыш приткнулся — и дела ему никакого.

— Мальчик? — спросил я.

Она кивнула головой. Вижу, замерзла, бедняжка, пальто на ней тонкое. А я и зимой плащ ношу поверх полушубка, нельзя в нашей работе без него. Придерживая малыша, я протянул ей свободный рукав:

— Тяните с меня плащ. Так простыть можно.

— Нет, что вы, не беспокойтесь, — отказалась она.

— Тяните, тяните! — потребовал я. — Укрывайтесь от ветра.

Она укуталась в плащ, я подоткнул полы ей под ноги.

— Согрелись немного?

— Согрелась.

— А что же вы так поздно?

— Так уж пришлось, — тихо ответила она.

Тем временем мы пошли по ущелью. Здесь был рудничный поселок. Все уже спали, в окнах темно. Собаки с лаем бежали за машиной. И тут я спохватился: куда она едет? Я почему-то думал, что на рудник, дальше некуда: перевал, а там наш участок.

— Вы, наверное, приехали? — сказал я

ей и постучал в кабину. — Осталось недалеко до перевала, а дальше машина не пойдет.

— А здесь что? — спросила она.

— Рудник. Вам разве не сюда?

— Я... я сюда ехала, — неуверенно сказала она. Но затем быстро встала, подала мне плащ, взяла на руки ребенка. Он сразу начал хныкать. Что-то тут было неладно, беда у нее. Оставить ее одну ночью, в холод?

— Вам некуда ехать! — без обиняков сказал я. — Не подумайте плохое. Дайте сюда малыша! — Я почти силой взял его. — Не отказывайтесь. Переночуете у нас на участке, а там дело ваше. Все! Поехали! — крикнул я шоферу.

Машина тронулась. Она сидела молча, уткнув лицо в ладони. Не знаю, может быть, плакала.

— Не бойтесь! — успокоил я. — Я вам ничего худого не сделаю... Я дорожный мастер — Байтемир Кулов. Можете верить мне.

Устроил их у себя. Была у нас свободная комнатушка в пристройке во дворе, улегся я там на топчане. Долго не засыпал. Раздумывал. Неспокойно мне было. Расспрашивать неудобно, я сам не люблю этого, а все же пришлось кое-что спросить: вдруг человеку помощь нужна. Отвечала она скованно, неохотно. Однако я угадывал то, что она недоговаривала. Когда человек в горе, за каждым словом его — десять невысказанных. Ушла она из дому, от мужа. Гордая, должно быть. Заметно, что страдает, убивается, но не сдается. Ну что ж, каждый волен поступать как хочет. Ей виднее. И все же жалко

мне было ее, совсем молодая женщина. На девушку похожа, стройная такая. Ласковая, наверно, душевная. Как мог человек допустить, чтобы она бросила все и ушла? Ну, да это их дело. Посажу завтра на какую-нибудь попутную машину — и до свидания. Устал я в тот день, засыпаю, и кажется мне, что еду в машине, а под полушубком у меня малыш. Пригрелся, прижимается под сердцем.

Поднялся я на рассвете. Пошел в обход, да что-то быстро вернулся. «Как там, — думаю, — мои гости?» Осторожно, чтобы не разбудить, затопил печку, поставил самовар. А она, оказывается, уже встала и собиралась уезжать. Благодарит меня. Без чая я их не отпустил, заставил немного подождать. Мой ночной попутчик-малыш оказался забавным мальчуганом. Большой радостью было повозиться с ним... За чаем я спросил:

— Вам куда ехать?

Она подумала и сказала:

— В Рыбачье.

— Родные там?

— Нет. Родители мои в аиле, за Тосором.

— О, так это вам с пересадкой придется. Неудобно.

— А я и не еду туда. Нельзя нам в аил, — задумчиво сказала она сыну. — Мы сами виноваты.

Я предположил, что она, наверно, вышла замуж против воли родителей. Так оно потом и оказалось.

Собралась она идти на дорогу, но я уговорил повременить, посидеть пока дома, чтобы не стоять с ребенком на ветру. Машину мог и я остановить.

Я шел по дороге с тяжелой душой. Не знаю отчего, грустно и тоскливо становилось при мысли, что они сейчас уедут, а мне опять оставаться одному.

Сначала попутные машины не попадались. А потом я пропустил одну, не поднял руку. И сам перепугался. Зачем я это делаю? Вот тут и начались мои мучения. Машины шли, а я все откладывал. «Сейчас, — думаю, — следующую машину остановлю», и снова рука не поднималась. В жар бросило меня. Она ждет там, надеется. Противен стал сам себе, а поделать ничего с собой не могу. Шагаю по дороге взад-вперед. Какие-то оправдания, причины нахожу. То кабина холодная — стекла выбиты, то машина не та, то шофер не приглянулся — лихач, а может, подвыпивший. А когда машины шли с занятыми кабинами, радовался, как мальчишка. Только не сейчас, только бы еще немного, еще минут пять побыли бы дома. «А куда ей ехать? — подумал я. — В аил нельзя, сама сказала. В Рыбачье, где приткнется она там с ребенком? Погубит его — зима. Так пусть лучше остается здесь. Поживет немного, поразмыслит, что к чему. Может, вернется назад к мужу. Или он ее разыщет...»

Эх, наказанье, лучше бы я сразу привел ее к дороге и отправил! Часа три я так шагал и топтался на месте. Возненавидел себя. «Нет, — думаю, — приведу ее и при ней остановлю машину. Иначе ничего не получится». Пошел назад к дому. А она уже выходит из дверей, истомилась в ожидании. Мне стало стыдно, глянул на нее, как провинившийся мальчишка.

— Заждались? — пробормотал я. — Машин нет попутных, не то что нет, неподходящие вроде. Вы извините... Не подумайте чего-нибудь... Ради бога, зайдите на минуту в дом. Очень прошу вас!

Она удивленно и грустно посмотрела на меня. Молча вернулась в дом.

— Вы жалеете меня? — спросила она.

— Нет, не потому. Понимаете... Боюсь за вас. Трудно придется. Как жить будете?

— Работать буду. Мне не привыкать.

— Где?

— Где-нибудь устроюсь. Но назад не вернусь и в аил не поеду. Буду работать и жить.

Я замолчал. Что я мог возразить? Она сейчас ни о чем не думала. В ней говорили обида, гордость. Эти чувства гнали ее неизвестно куда. Но ведь легко сказать — буду работать и жить. Не так-то сразу это получится. А неволить человека нельзя.

Мальчик потянулся ко мне. Я взял его на руки. Поцеловал, а сам думаю: «Эх, хорошенький ты мой, придется нам сейчас расставаться. Дорогим ты мне стал, как свой, родной...»

— Ну что ж, пойдемте, — тихо сказал я.

Мы встали. Я понес малыша, но в дверях остановился.

— А работа и у нас найдется, — проговорил я. — Можете жить и работать. Квартирка есть небольшая. Правда, оставайтесь. Не спешите. Уехать всегда успеете. Подумайте...

Она сначала не соглашалась. Но в конце концов я убедил ее.

Так Асель с сынишкой Саматом остались у нас на дорожном участке.

Комнатушка, что пристроена во дворе, была холодной, и я настоял, чтобы Асель с сыном поселилась в моем доме, а сам перебрался в пристройку. Меня это вполне устраивало.

С той поры жизнь моя стала иной. Ничего будто не изменилось, я по-прежнему оставался один, но ожил во мне человек, отогрелась душа после долгого одиночества. Конечно, и раньше я был среди людей, но можно жить с ними бок о бок, работать, дружить, делать общее дело, помогать и принимать помощь, и все-таки есть такая сторона жизни, которую ничем не заменишь. Привязался я к малышу. В обход иду, укутаю его потеплей и беру с собой, ношу по дорогам. Все свободное время проводил с ним. Не представлял, как жил раньше. Соседи мои — люди хорошие, добры были и с Асель и с Саматом. Детей кто не любит? А Асель, душевная, открытая, быстро прижилась на участке. А я прикипел к малышу еще из-за нее, Асель. Что скрывать, и от себя-то не скрыл, как ни пытался. Полюбил я ее. Полюбил сразу, на всю жизнь, всей душой. Все прожитые в одиночестве годы, вся тоска и страдание, все, что было потеряно, все слилось в этой любви. Но сказать об этом я не имел права. Ждала она его. Долго ждала, хотя и не подавала вида. Часто замечал я, когда работали мы на дороге, как встречала и провожала она ожидающими глазами каждую проходящую машину. А иногда брала сына, шла к дороге и часа-

ми просиживала там. А он не появлялся. Не знаю, кто он был и какой из себя, этого я не спрашивал, и она никогда на рассказывала.

Время шло понемногу. Самат подрастал. Ох и шустрый, славный карапуз! Не знаю, научил его кто или сам он, только стал называть меня папой. Как увидит, бросается на шею: «Ата! Ата!» Асель задумчиво улыбалась, глядела на него. А мне радостно и больно. Рад бы ему отцом быть, да что поделаешь...

В тот год летом как-то раз ремонтировали мы дорогу. Машины шли проездом. Асель вдруг крикнула одному шоферу:

— Эй, Джантай, остановись!

Машина проскочила с разгона и затормозила. Асель побежала к шоферу. О чем они там поговорили, не знаю, но услышал, как она вдруг крикнула:

— Врешь ты! Не верю! Уезжай отсюда! Уезжай сейчас же!

Машина пошла дальше, а Асель кинулась через дорогу и побежала домой. Кажется, плакала она.

Работа валилась из рук. Кто он? Что сказал ей? Всякие сомнения и догадки одолевали. Не утерпел я, пошел домой, а Асель не выходит. Вечером я все же зашел к ней.

— А где Самат? Соскучился я по нем!

— Вот он здесь, — уныло ответила Асель.

— Ата! — потянулся ко мне Самат.

Я поднял его на руки, забавляю, а она сидит печальная и молчит.

— Что случилось, Асель? — спросил я.

Асель тяжело вздохнула.

— Уеду я, Баке, — ответила она. — Не по-

тому, что мне здесь плохо. Я вам очень благодарна, очень. Но только уеду... Куда глаза глядят, сама не знаю куда.

Я вижу, действительно может уехать. Мне ничего не оставалось, как сказать правду:

— Что ж, Асель, задерживать не имею права. Но и мне не жить здесь. Придется уйти. А я уже один раз покидал пустое место. Да что тут объяснять!.. Сама знаешь, Асель. Если ты уедешь, для меня это будет то же самое, как тогда на Памире. Подумай, Асель... А если вернется он и сердце позовет назад, то мешать не буду, ты всегда свободна, Асель.

С этими словами я взял Самата на руки и пошел по дороге. Долго ходили мы с ним. Ничего не понимал он, малыш мой.

Асель пока от нас не уезжала. Но о чем она думала, что решила? Высох я за эти дни, почернел лицом.

И вот как-то в полдень вхожу во двор, смотрю, Самат по-настоящему пытается ходить. Асель поддерживает его, боится — упадет. Я остановился.

— Баке, а сын твой уже ходит, смотри! — радостно улыбнулась она.

Как она сказала? Сын твой! Я бросил лопату, присел на корточки и поманил к себе малыша:

— Тай-тай-тай, верблюжонок мой! Ну, иди ко мне, топай ножками по земле, смелей топай!

Самат раскинул руки.

— Ата! — ковыляет ножками, бежит.

Я подхватил его на лету, высоко вскинул над собой и крепко прижал к груди.

— Асель! — сказал я ей. — Давай устроим завтра праздник «разрезания пут» для детворы. Ты приготовь веревочку из белой и черной шерсти.

— Хорошо, Баке! — засмеялась она.

— Да, да, обязательно из белой и черной шерсти...

Я сел на лошадь, поскакал к друзьям-скотоводам, кумыс привез, свежего мяса, и на другой день мы пригласили соседей на наш маленький праздник «разрезания пут».

Я поставил Самата на землю, спутал ему ноги черно-белой веревочкой, как бы стреножил. А рядом с ним положил ножницы и скомандовал детям, что стояли на другом конце двора.

— Кто первый прибежит и разрежет путы, тому первый подарок, а остальным — по очереди. Пошли, ребята! — махнул я рукой.

Дети с гиканьем пустились бежать, как на скачках.

Когда путы были разрезаны, я сказал Самату:

— Ну, сын мой, беги теперь! Берите его, ребята, с собой!

Дети взяли Самата за руки, а я проговорил вслед, ни к кому не обращаясь:

— Люди! Мой жеребенок побежал по земле! Пусть он будет быстроногим скакуном!

Самат бежал за детьми, потом обернулся: «Ата!» — и упал. Мы с Асель разом бросились к нему. Когда я поднял с земли малыша, Асель первый раз сказала мне:

— Родной ты мой!

...Вот так мы стали мужем и женой.

Зимой вместе с сынишкой съездили к старикам в аил. Долго они были в обиде. Пришлось нам с Асель за все ответ держать. Я им всю правду рассказал, все, как было. И они простили Асель, ради внука простили, ради нашего будущего.

Время шло незаметно. Самату сейчас пятый год. Во всем у нас с Асель согласие, и только одного мы никогда не затрагиваем, только об одном не упоминаем. Между нами как бы молчаливый договор: тот человек для нас не существует... Но в жизни не всегда бывает так, как ты хочешь! Он объявился здесь совсем недавно.

Случилась авария на дороге. В ночное время. Мы с соседом, помощником моим, побежали узнать, что произошло. Прибегаем. Грузовая машина врезалась в столбы. Шофер весь побит, почти без сознания и пьяный. Узнал я его, только имя не мог вспомнить. Вызволил он нас однажды из беды, потянул на буксире машину на перевал. А это не шуточное дело — по Долону. Раньше такого здесь не бывало. А он оказался напористым, отчаянным парнем, притащил нас на усадьбу. Очень понравился он мне тогда, по душе пришелся. Вскоре после этого кто-то добрался до перевала с прицепом. Совсем немного осталось ему, да, видно, что-то помешало. Завалил шофер прицеп в кювет, бросил и уехал. Я подумал еще тогда, не он ли, эта отчаянная голова. Пожалел, что не удалось смельчаку добиться своего. Но после машины стали с прицепом ходить через перевал. Приспособились ребята и правильно сделали.

Честно скажу, в первый момент я не знал,

что это был он, человек, от которого ушла Асель. Но если бы знал, сделал бы то же самое. Притащил я его домой, и сразу все стало ясно. В этот момент Асель внесла дрова. Как увидела его, так и посыпались поленья на пол. Однако никто из нас и виду не подал. Будто встретились впервые. Тем более я должен был держать себя в руках, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или намеком не причинить им боли, не помешать заново понять друг друга. Я тут ничего не решал. Они решали: между ними было их прошлое, между ними был их сын, с которым я лежал на кровати, прижимал к себе и ласкал.

В эту ночь никто из нас не спал, каждый думал о своем. И я о своем.

Асель может уйти с сыном. Это их право. Пусть они поступят так, как велит им сердце и разум. А я... да что говорить, не обо мне речь, не от меня зависит, я не должен мешать...

Он и сейчас здесь, ездит по нашей трассе. Где он был все эти годы, чем занимался? Но это неважно... Это их дело...

*

Мы возвращались с Байтемиром с обхода. Вечерело. Дымчатый весенний закат разливался в поднебесье над ледяными вершинами Тянь-Шаня. С ревом проносились машины по дороге.

— Вот как оно получается, — задумчиво проговорил Байтемир после некоторого молчания. — Не должен я сейчас уезжать из дому. Если Асель надумает уходить, пусть со-

весть ее будет чиста, пусть скажет мне об этом и получит последнее напутствие сыну. Ведь он мне роднее родного. А отнять его у них не могу... Потому и не еду никуда. Тем более на Памир. Не для газеты, конечно, я рассказываю. Просто как человек человеку...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

С Ильясом мы расстались в Оше. Он поехал на Памир, а я по своим делам.

— Приеду, разыщу Алибека. Начну новую жизнь! — мечтал Ильяс. — Не думайте, я не пропащий человек. Пройдет время, женюсь, будет у меня дом, семья, дети — словом, все как у людей. И друзья и товарищи найдутся. И лишь одного у меня не будет, того, что потеряно безвозвратно, навсегда... До последних дней своих, до последнего вздоха буду помнить Асель и все прекрасное, что было между нами.

Ильяс задумался, опустил голову. Помолчав, добавил:

— В день отъезда я пошел к озеру, на то самое обрывистое взгорье. Я прощался с Тянь-Шаньскими горами, с Иссык-Кулем. Прощай, Иссык-Куль, песня моя недопетая! Унес бы я тебя с собой, с синевой твоей и берегами желтыми, да не дано, так же как не могу я унести с собой любовь любимого человека. Прощай, Асель! Прощай, тополек мой в красной косынке! Прощай, любимая. Будь счастлива!

1961 год

ВЕРБЛЮЖИЙ ГЛАЗ

1

Я успел зачерпнуть из родника лишь полведра воды, как над степью пронесся истошный крик:

— Э-эй! Академик, морду набью-у-у!

Я замер. Прислушался. Вообще-то меня зовут Кемелем, но здесь прозвали «академиком». Так и есть: трактор на той стороне зловеще молчит. Тот, кто обещает набить мне морду,— это Абакир. Опять наорет на меня, изругает, а то и замахнется кулаком. Тракторов два, а я — один. И должен доставлять для них на этой одноконной бричке и воду, и горючее, и смазку, и всякую всячину. Тракторы с каждым днем уходят все дальше и дальше от единственного на всю округу родника. Все дальше и дальше уходят они от нашего единственного на всем белом свете полевого стана, где хранится в цистерне горючее. Пробовали было перенести его, да куда там — он тоже привязан к воде. А такой вот Абакир знать ничего не хочет: «Морду набью за простой, да и только! Не затем я здесь ишачу, чтобы время терять из-за какого-то студентика-слюнтяя!»

А я и не студентик вовсе. Даже не пытался попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархáй. Когда нас отправляли, на собрании говорили, что мы, а значит, и я в том числе, «славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев». Вот кто я был вначале. А теперь? Стыдно признаться: «академик». Так прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли, размечтаюсь вслух, словно мальчишка, а люди потом смеются надо мной. Но если бы кто знал, что не столько я сам виноват в этом, сколько наш учитель истории Алдияров. Краевед! Понаслушался я нашего краеведа, и теперь вот расплачиваюсь...

Так и не наполнив бочку доверху, я выехал из ложбинки на дорогу. Собственно, и дороги-то тут никогда не было. Это я накатал ее своей бричкой.

Трактор стоит в конце огромного черного поля. А наверху — на кабине — Абакир. Потрясая в воздухе кулаками, он все еще поносит меня, ругается на чем свет стоит.

Я подстегнул лошадь. Вода в бочке выплескивается мне на спину, но я гоню вовсю.

Я сам напросился сюда. Никто меня не заставлял. Другие поехали в Казахстан, на настоящую целину, о которой в газетах пишут. А на Анархай я один подался. Здесь только первую весну работают, да и то всего два трактора. В прошлом году агроном Сорокин — он тут главный над всеми нами — испытывал на небольшом поле богарный ячмень. Говорят, неплохо уродился. Если и дальше так пойдет, то проблему кормов

в Анархайской степи, может, удастся разрешить.

Но пока приходится действовать с оглядкой. Очень уж засушлив и зноен Анархай летом: даже каменные колючки — таш-тикен — и то, случается, сохнут на корню. Те колхозы, что пригоняют сюда с осени скот на зимовку, не решаются пока сеять, выжидают: поглядим, мол, что у других получится... Потому нас всего-то здесь по пальцам перечесть: два тракториста, два прицепщика, повариха, я — водовоз — и агроном Сорокин. Вот и вся армия покорителей целины. Вряд ли кто знает о нас, да и мы не ведаем, что творится на свете. Иногда только Сорокин привезет какую-нибудь новость. Он ездит верхом в соседнее урочище к чабанам, ругается оттуда по рации с начальством да сводки сообщает для отчетности.

Да-а, а я-то думал — целина, масштабы! Впрочем, это же все наш историк Алдияров. Это он расписывал нам, школьникам, Анархай: «Веками нетронутая, роскошная полынная степь, простирающаяся от Курдайского нагорья вплоть до камышовых зарослей Балхаша! По преданиям, в былые времена, заблудившись в холмах Анархая, бесследно исчезли целые табуны, а потом долго бродили там косяки одичавших лошадей. Анархай — безмолвный свидетель минувших эпох, арена грандиозных битв, колыбель кочевых племен. А в наши дни Анархайскому плато суждено стать богатейшим краем отгонного животноводства...» Ну и так далее, в том же духе...

Хорошо было тогда разглядывать Анархай на карте, там он с ладонь. А теперь. С рассвета гоняю туда-сюда эту дурацкую водовозку. Вечером с трудом выпрягаю лошадь и задаю ей прессованного сена, завезенного сюда на машине. Потом ем без всякого аппетита то, что дает мне наша Альде́й, заваливаюсь в юрте спать и сплю мертвецким сном.

Но что Анархай роскошная полынная степь — это и в самом деле так. Можно было бы часами бродить тут и любоваться ее красотой, да времени нет.

Все бы ничего, да вот одного не пойму: чем я не пришелся Абакиру, за что он так ненавидит меня? Если бы я знал, что меня здесь ждет... Я готов был ко всяким, так сказать, стихийным трудностям. Не в гости же я сюда ехал. Но о людях, с которыми мне предстояло жить и работать, я почему-то вовсе не думал. Везде люди как люди...

Ехал я сюда двое суток на машине. Вместе со мной везли в кузове эту вот водовозку о четырех колесах, и я даже не подозревал тогда, что именно из-за нее хлебну здесь столько горя.

Ведь я ехал сюда прицепщиком. Думал, поработаю весну возле трактора, подучусь и сам стану трактористом. Так мне в районе говорили. С этой мечтой я и отправился на Анархай. А когда прибыл на место, оказалось, что прицепщики уже есть, а я, мол, прислан водовозом. Надо было, конечно, сразу же отказаться и вернуться домой. Тем более, что я никогда не имел дела с хомута-

ми и оглоблями. Да и вообще-то нигде еще не работал, только вот на субботниках помогал матери на сахарном заводе. Отец у меня погиб на фронте. Я его не помню. Вот я и решил начать самостоятельную жизнь... А все-таки надо было сразу вернуться. Постыдился. Столько шуму было тогда на собрании! И мать не отпускала, она мечтала увидеть меня врачом. Но я настоял, уговорил — помогать, мол, буду. Сам рвался, не терпелось поскорее уехать. Как бы я в глаза людям смотрел, если бы сразу вернулся. Пришлось сесть на водовозку. Однако беды мои начались не с нее.

Еще по пути сюда, стоя в кузове, я глядел во все глаза: вот он, древний легендарный Анархай! Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Земля еще дышала талым снегом. Но в волглом воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким, размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали.

И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной, с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками наперевес и знаменами.

Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я тоже был где-то в этой кипучей схватке... Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда...

Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом. Так мне показалось издали. А поезд становится все меньше и меньше, он превратился в темную черточку, а потом и вовсе исчез из глаз.

Мы пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше...

В первый же день по прибытии я выдал себя с головой. Я еще не избавился от тех видений, которые почудились мне в дороге. Неподалеку от полевого стана стояла на пригорке древняя каменная баба. Серая, грубо отесанная гранитная глыба столетия простояла здесь, словно в дозоре, глубоко осев в землю и вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд. Правый глаз ее, чуть скошенный, выщербленный дождями и ветром, казался вытекшим, пустым и отпугивал злым прищуром под тяжелым подобием века. Я долго

разглядывал бабу, а потом, подойдя к юрте, спросил у Сорокина:

— Как вы думаете, товарищ агроном, кто мог поставить здесь эту фигуру?

Сорокин собирался куда-то ехать.

— Должно быть, калмыки, — сказал он, садясь в седло, и уехал.

Что бы мне тогда на этом успокоиться! Нет! Меня словно кто за язык тянул, и я обратился к трактористам и прицепщикам, с которыми еще не успел как следует познакомиться:

— Нет, это не совсем точно. Калмыки были здесь в семнадцатом веке. А это надгробный памятник двенадцатого века. Бабу, очевидно, поставили монголы в пору великого нашествия на запад. Вместе с ними и мы, киргизы, пришли с Енисея сюда, в тянь-шаньские края. До нас здесь обитали племена кипчаков, а до них — рыжеволосые светлоглазые люди...

Я залез бы еще дальше в глубь истории, но меня перебил человек в комбинезоне, стоявший у трактора. Это был Абакир.

— Эй ты, малый! — Он метнул на меня исподлобья раздраженный взгляд. — Больно ты ученый. Пойди-ка принеси из юрты шприц с тавотом.

Оказывается, я принес шприц с солидолом.

— Эй ты, академик! — презрительно процедил он, косясь на меня своими колючими, в красных прожилках, глазами. — Лекции читаешь нам, неучам, а кобылу от верблюда не умеешь отличить.

Отсюда и пошло — «академик»...

Вот и сейчас я уже приближаюсь со своей водовозкой, а он не унимается. Бежит ко мне, увязая в пашне.

— Ты что ползешь, словно вошь прибитая! Сколько прикажешь тебя ждать? Придушу, щенок, все меньше одним сопливым академиком будет.

Я молча подъезжаю к трактору. Да и что я могу сказать в свое оправдание? Ведь трактор простаивает по моей вине, это факт. Хорошо еще, прицепщица Калипа вступается за меня:

— Ну успокойся, успокойся, Абакир! Криками тут не поможешь. Смотри, на нем и так лица нет. Совсем измучился, бедняга. — Она берет из моих дрожащих рук ведро и заливает водой радиатор. — Он без того старается. Видишь, мокрый весь, хоть выжимай...

— А мне-то что! — огрызается Абакир. — Сидел бы дома да книжки свои читал.

— Ну перестань, — уговаривает его Калипа. — Сколько в тебе зла! Нехорошо так, Абакир.

— Все прощать да спускать этаким вот — задарма помрешь. План-то с меня спрашивают, а не с тебя. Разве кому есть дело, что меня гробит этот ученый олух!

Далась же ему моя ученость. Зачем я только учился и откуда взялся на мою голову историк Алдияров?

Я стараюсь побыстрей уехать отсюда. Меня ведь ждут еще в другом конце поля. Там тракторист — Садабек, человек пожилой, серьезный, он хоть и сердится, но не кричит.

Мотор за моей спиной затарахтел. Трактор Абакира тронулся с места и пошел. Я облегченно вздохнул и поежился под намокшей фуфайкой. И отчего это Абакир уродился таким вредным, таким злющим? Ведь не старый еще, едва за тридцать. Лицо, правда, немного тяжелое, с буграми на скулах, и руки цепкие, клешневатые, но собой видный. А глаза плохие, недобрые. Чуть что, наливаются кровью, тогда держись, тогда ему все нипочем.

Было у нас недавно одно дело. Дождь занялся с вечера, всю ночь моросил, нашептывал что-то унылое, монотонное, стекая по набрякшей кошме. И к утру не перестал. Мы томились в юрте от вынужденного безделья. Агроном Сорокин уехал — у него и в дождь дел по горло. Ведь он отвечал и за животноводство, поэтому и не было человеку ни минуты покоя, день-деньской в седле.

Когда дождь приутих немного, прицепщик Эсиркеп, младший брат Садабека, оседлал мою лошадь и тоже уехал куда-то к чабанам. Альдей и Калипа взяли ведра и пошли за водой к роднику. Остались в юрте мы трое — Абакир, Садабек и я.

Мы хмуро молчали, занятый каждый своим делом. Абакир полулежал, вытянув ноги, и курил. Садабек сидел у очага на потнике, орудуя шилом и дратвой над прохудившимся сапогом. Я приткнулся в уголке и читал.

Сыро, тоскливо было в юрте. Намокшая кошма отдавала квелым овечьим духом. Изредка сверху падали крупные, желтые, как

чай, капли. А снаружи дождь все бормотал что-то, шепелявил в лужах.

Абакир скучающе зевнул, с хрустом потянулся, зажмурился и, не глядя, швырнул окурок, который упал на краешек кошмы. И сразу же задымила паленая шерсть. Садабек поднял журак и бросил его в золу.

— Ты бы поосторожней, — проговорил он, протаскивая сквозь кожу дратву. — Трудно, что ли, с места подняться?

— А что стряслось? — вызывающе вскинул голову Абакир.

— Кошма загорелась.

— Подумаешь, богатство какое! — Абакир пренебрежительно усмехнулся. — Латаешь свой дырявый сапог, ну и латай, тебе другого и не надо!

— Дело не в богатстве. Ты тут не один и не у себя дома.

— Знаю, что не у себя дома! У себя я бы и разговаривать с тобой не стал. Понял, рожа ты в кожаных штанах? Да, видно, бог наказал, сижу в этом каторжном Анархае, где место таким вот дуракам, как ты и твоя жена!

Садабек с силой дернул дратву. Шило выскочило у него из руки и отлетело за спину. Он долго смотрел на Абакира ненавидящим взглядом, потом грозно подался вперед, зажимая в одной руке сапог, а в другой натянутую, как струна, дратву.

— Хорошо, пусть я дурак и жена моя дура, что приехала со мной и кормит нас всех тут! — проговорил он, тяжело дыша. — А все другие анархайцы, по-твоему, каторжники?

Ты их, что ли, пригнал сюда? А ну, отвечай, сволочь! — вскрикнул Садабек и вскочил с места, перехватывая голенище кованого сапога правой рукой.

Абакир метнулся к гаечному ключу, что лежал в стороне, и вобрал голову в плечи, готовясь к удару.

Я испугался. Это было очень страшно. Они могли убить друг друга.

— Не надо, Абакир! — метнулся я к ним. — Не бей его! Не надо, Садабек, не связывайтесь! — взмолился я, путаясь у них под ногами.

Садабек отшвырнул меня в сторону, и они закружились по юрте, как барсы перед схваткой, вперив друг в друга глаза. Потом разом прыгнули, и гаечный ключ просвистел в воздухе у самой головы Садабека. Но тот в последний момент увернулся и обеими руками перехватил ключ. Однако Абакир был силен. Он подмял противника под себя, и они покатились по полу, хрипя и ругаясь. Я подскочил к ним, бросился всем телом на ключ, который Абакир выронил, и наконец, схватив его, выбежал из юрты.

— Альдей! Калипа! — закричал я женщинам, возвращавшимся с водой. — Живее, живее! Дерутся они, убьют...

Женщины поставили ведра и бросились ко мне. Когда мы вбежали в юрту, Садабек и Абакир все еще катались по земле. Мы растащили их, изодранных и окровавленных. Альдей потянула было мужа к выходу. Но Абакир рванулся из объятий Калипы.

— Ну погоди, колченогая собака! Ты еще будешь молить о пощаде, дрянь поганая, ты еще узнаешь, кто такой Абакир!

Приземистая, сухонькая Альдей подошла к нему и сказала прямо в упор:

— А ну, тронь попробуй! Глаза выдеру! Сам себя не узнаешь!

Садабек спокойно взял жену за руку:

— Не надо, Альдей. Он того не стоит...

Я тем временем вышел, разыскал заброшенный мной в суматохе гаечный ключ, отошел подальше от юрты и зарыл его в землю возле каменной бабы. А сам сел и вдруг расплакался. Глухие, удушающие рыдания сотрясали мое тело. Никто не видел меня, и сам я не понимал, что творится со мной. Только каменная баба, будто подслушивая мое горе, зло косилась на меня пустой черной глазницей. Вокруг простиралась мокрая туманная степь, тихая и утомленная. Ничто ни единым звуком не нарушало ее извечного, глубокого покоя, и только я все еще всхлипывал, утирая глаза. Долго я сидел здесь, очень долго, пока не стемнело...

Вот так я и живу в этой самой роскошной полынной степи... Стараюсь изо всех сил, но все равно ничего у меня пока не получается. Сейчас вот опять влетело от Абакира. Как быть дальше, ума не приложу. Однако и падать духом нельзя. Надо стоять там, где стоишь. Пока не упадешь.

— А ну, Серко, шевелись! Поживей! Нам с тобой нельзя унывать, работа не ждет...

2

Назавтра я поднялся с рассветом, раньше обычного. Еще вчера, лежа в юрте, я решил про себя: в лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы никто не посмел меня не то что обругать, но и упрекнуть. В конце концов, надо доказать, что я ничем не хуже других.

Первым делом я развез горючее и сам заправил баки. Потом покатил со своей бочкой к роднику, чтобы до начала работы залить радиаторы водой. Затем надо было успеть позавтракать и снова, не теряя ни минуты, возить воду. Пока что дело шло так, как я рассчитывал.

Тем временем за белесой дымкой горизонта шевельнулось солнце. Оно долго не всходило, медлило, точно боялось окинуть взглядом всю ширь и даль анархайской земли. А потом приподнялось и выглянуло одним краешком. Что может быть красивее степи на утренней заре! Будто разлилось огромное лазоревое море, да так и застыло голубыми волнами, кое-где отливающими темной прозеленью и желтизной.

О Анархай, о великая степь! Что же ты молчишь, о чем думаешь? Что таишь ты в себе от века и что ждет тебя впереди?

Не беда, что я всего-навсего водовоз. Я еще буду властвовать и над этой землей, и над машинами. Ведь наши два трактора и то, что мы делаем тут, — это всего лишь начало начал. Я где-то вычитал, будто изыскатели обнаружили под Анархаем большие подземные реки. Возможно, это пока лишь

догадка. Но как бы там ни было, я верю, что люди напоят эту землю и на Анархае заколышутся зеленые сады, побежит вода в прохладных арыках, и здешние ветры будут мерить золотые хлебные поля. Вырастут здесь города и села, и наши потомки назовут эту степь благословенной страной Анархай. И через много-много лет, когда придет сюда такой же парень, как я, ему наверняка не придется день-деньской мотаться по степи с водовозкой и выслушивать брань какого-нибудь самодура.

И все-таки я не завидую ему, потому что я первый пришел сюда!..

Я остановил водовозку, оглядывая утренние просторы. В эту минуту я был самым счастливым, самым сильным и даже самым красивым человеком на земле. Да будет благословенна страна Анархай!..

Солнце наконец выкатилось из-за горизонта, огромное, сияющее.

День начинался неплохо. По крайней мере, моторы не глохли — я поспевал подвозить воду. Но до вечера было еще далеко...

В одну из своих поездок я обнаружил у родника небольшую отару овец с ягнятами. Их пригнала сюда какая-то девушка. Она поила их из ручья, не подпуская к источнику. Откуда она взялась? Наверно, пришла из урочища, что лежало в стороне от нас, там, за двуглавым холмом. В тех краях располагались чабаны. Лицо девушки показалось мне чем-то знакомым. В каком-то журнале я видел однажды фотографию молоденькой вьетнамки с такой же вот, как у этой девушки, челочкой на лбу. Поэтому,

наверно, мне и почудилось, будто я ее где-то видел.

Мы молча посмотрели друг на друга. Мое появление здесь было для нее такой же неожиданностью, как и ее присутствие для меня. Но я как ни в чем не бывало спрыгнул с повозки и деловито принялся черпать воду из родника, пополняя свою бочку.

Овцы напились тем временем, и девушка стала отгонять их в сторону. Проходя возле меня, она спросила:

— А как называется этот родник?

Я призадумался, глядя на округлый водоем, где тускло поблескивала замутненная мной вода. Действительно, должен же как-то называться наш единственный родник. Пока я думал, вода отстоялась, посветлела на поверхности и потемнела в глубине.

— Верблюжий глаз! — сказал я, повернувшись к девушке.

— Родник Верблюжий глаз? — Она тряхнула челочкой и улыбнулась. — Красиво! А он и правда похож на верблюжий глаз, такой задумчивый...

Мы разговорились. Девушка оказалась из наших мест. Она знала даже моего учителя Алдиярова. Ох, до чего же это здорово — услышать имя любимого учителя здесь, в степи, от незнакомой девушки, которая, подумалось мне, тоже не без его влияния попала сюда, на Анархай! Она еще в прошлом году окончила школу, не нашу, а другую, и теперь работала сакманщицей — помощницей чабана.

— У нас на кошаре колодезная вода соленая, — говорила девушка. — А я слышала,

что где-то здесь есть родник. Мне и самой захотелось посмотреть на живую воду и ягнят напоить, пусть и они знают, какая она, настоящая вода. Вот выращу их, сдам в отару, а к осени поеду учиться в университет...

— Я тоже со временем думаю учиться, — сказал я. — Только я по механизации пойду. Меня ведь послали сюда работать у трактора, а это так... — показал я на бочку, — временно помогаю... Должны прислать другого водовоза...

Ну это уж я зря, конечно, ляпнул, просто сам не заметил, как сорвалось с языка. От стыда мне стало невыносимо жарко, но тут же я похолодел.

— Э-эй, акаде-мик, морду набью-у-у! — донесся издали ненавистный голос Абакира.

— Ох, и заболтался же я!

— Что это там? — не разобрав, спросила девушка.

— Да так, — пробормотал я, краснея. — Воду надо везти.

Девушка погнала овец своей дорогой. А он, Абакир, стоя на кабине трактора в дальнем конце загона, орал во всю глотку, размахивая кулаками.

— Да еду я, еду! Уймись ты! Нельзя же кричать при посторонних! — прошептал я в отчаянии и погнал лошадь вскачь.

Вода в бочке бултыхалась, выплескивалась, то и дело окатывая меня с головы до ног. Ну и пусть! Пусть там не останется ни капли! Не могу я больше терпеть такие издевательства! Абакир спрыгнул с кабины и, как

в тот раз, снова кинулся ко мне. Я осадил лошадь.

— Если ты будешь так кричать, я брошу работу и уйду!

Он растерялся от неожиданности, а потом присвистнул и обложил меня матом.

— Без тебя, сопливого академика, был Анархай и теперь не провалится, чтоб ему сгореть! Валяй, катись отсюда восвояси! Тоже еще, огрызаться вздумал, голоштанный студент!

Я спрыгнул с повозки, закинул кнут за трактор и зашагал прочь.

— Стой, Кемель! Нельзя так! Куда ты, остановись! — закричала мне вслед Калипа.

Но это только подстегнуло меня, и я зашагал еще быстрее.

— Не задерживай, пусть проваливает! — донесся до меня голос Абакира. — Обойдемся!

— Изверг ты, зверь, а не человек, что ты наделал! — стыдила его Калипа.

Я еще долго слышал, как они там кричали и ругались.

Не замедляя шага, я уходил все дальше и дальше. Мне было все равно, куда идти. Никого, ни единой души не было вокруг, и пути передо мной были открыты во все стороны. Я миновал родник, полевой стан, прошел под пригорком, там, где стояла каменная баба. Зло ухмыляясь, старуха проводила меня пустым черным взглядом и осталась стоять, тяжело вросшая в землю, как стояла многие века.

Я шел, ни о чем не думая. У меня было

только одно желание: уйти, уйти отсюда как можно быстрее, и пусть этот проклятый Анархай любуется моим затылком.

Пусто, бесстрастно стлалась передо мной степь. Все — пригорки, увалы, лощины, — все вокруг до тошноты походило одно на другое. Кто сотворил это мертвое, унылое однообразие? Почему я, оскорбленный и униженный, должен мерить эти бесконечные седые просторы горькой полыни? Куда ни глянь — всюду бездыханная пустыня. Что, спрашивается, надо здесь человеку? Разве мало ему места на земле? И мои утренние мечты показались мне до смешного нелепыми.

«Вот тебе и роскошная полынная степь, вот тебе и страна Анархай!» — высмеивал я сам себя, ощущая всем существом своим собственное бессилие, бесприютность и подавленность.

Надо мной было высокое-высокое небо, вокруг расстилалась огромная-огромная земля, и сам я показался себе маленьким-маленьким, одиноким, забредшим сюда невесть откуда человечком в стеганой фуфайке, кирзовых сапогах и поношенной выцветшей кепчонке.

Так я и шел. Ни тропы, ни дороги. Я просто шел. «Выйду где-нибудь к железнодорожной насыпи, — думал я, — пойду по шпалам, а там на каком-нибудь разъезде подцеплюсь к товарняку. Уеду к людям...»

Когда у меня за спиной раздался топот коня и фырканье лошади, я даже не оглянулся. Это Сорокин. Кроме него, некому. Сейчас начнет корить, будет упрашивать, но — к чертям! — не вернусь, даже и не подумаю.

— Остановись! — негромко окликнул меня Сорокин.

Я остановился. Сорокин подъехал на вспотевшей лошади. Молча посмотрел на меня синими пристальными глазами из-под выцветших бровей, полез в полевую сумку и достал красный листок — мою комсомольскую путевку, которую я с такой гордостью вручил ему в день приезда.

— На, это нельзя оставлять, — спокойно протянул он мне путевку.

Во взгляде его я не прочел ни упрека, ни презрения. Он не осуждал и не жалел меня. Это был серьезный взгляд человека, обремененного делами, давно привыкшего ко всяким неожиданностям. Сорокин отер ладонью утомленное, заросшее рыжеватой щетиной лицо.

— Если на разъезд — держи правее, вон по-над той ложбиной, — показал он мне и, повернув коня, медленно поехал назад.

Я ошеломленно смотрел ему вслед. Почему он не обругал меня, почему не стал уговаривать? Почему он так устало сидит на своей понурой лошади? Семья — жена и дети — где-то далеко, а он здесь один годами кружит по степи. Что он за человек, что держит его в пустынном Анархае?

Сам не понимаю почему, но я медленно побрел за ним.

Вечером мы все собрались в юрте. Все молчали. Было тихо, только сухо потрескивал костер. Всему виной был я. Разговор еще не начинался, но, судя по хмурому, напряженному лицу Сорокина, он собирался что-то сказать.

— Ну, так как же быть? — промолвил наконец Сорокин, ни к кому не обращаясь.

— А что, на Анархай потоп надвигается, что ли? — ехидно отозвался Абакир.

При этих словах Садабек молча встал и вышел из юрты. После той драки он не разговаривал с Абакиром и сейчас, видно, не намерен был вмешиваться в разговор. Его брат, прицепщик Эсиркеп, тоже поднялся было с места, но раздумал и остался.

Абакир и с ним был не в ладах. Как-то, уступив моей просьбе, Эсиркеп оставил меня на день на своем плуге у трактора Садабека, а сам пересел на водовозку. Ну, известно, опоздал немного с водой, и Абакир обрушился на него. Но Эсиркеп в обиду себя не дал, он тоже драться умел. А ведь он старше меня всего года на три.

Абакиру никто не ответил.

— А что тут думать? — добавил он. — Кто сорвал работу, тот пусть и отвечает.

— Не о том речь, кто виноват, кто не виноват! — ответил Сорокин, не глядя на меня. — Здесь судьба молодого человека решается, как ему быть теперь.

— Ну, уж и судьба! — усмехнулся Абакир. — Судьба таких академиков давно решена: пропащий, ни на что не годный народ! — Он небрежно махнул рукой. — Ну сам посуди, Сорокин, куда они годятся? Пока мы своим горбом хлеб добывали, они учились по десять лет, а то и больше. Мы кормили их, обували, одевали, а что получилось, чему их там выучили? Машины не знает, хомут на коня надеть не умеет, супонь и то толком не стянет... Почему это я должен отдуваться за

него? На кой хрен мне его ученость! Подумаешь, знаток каменных идолов! А с делом не справляется. Раз так — значит, айда, катись, не срывай работу другим! И ты на меня, Сорокин, не напирай, я вкалываю без сменщика и никому спуску не дам. А неугоден — завтра ноги моей здесь не будет. Но то, что говорил, всегда говорить буду; я бы всех этих академиков...

— Довольно! — резко прервал Абакира Сорокин, все так же не глядя на него. — Это мы и без тебя знаем. Не о том речь. А ну, скажи, Кемель, что ты-то сам думаешь?

Я не сразу ответил. Слушая Абакира, я поймал себя на мысли, что какая-то доля истины была в его словах. Но как все это говорилось: как зло, как враждебно! За что? Разве я безрукий или уж такой тупица, что никогда не постигну того, что доступно Абакиру? Или же моя грамотность мне помешает? Я этого решительно не понимал. Однако я постарался ответить Сорокину как можно спокойнее:

— Я приехал сюда работать прицепщиком. Это для меня важно. А с хомутами и супонями я уже справляюсь. Это знают все, и Абакир тоже знает. Можно было бы и дальше так работать. Но я водовозом не буду. Принципиально не буду.

— Другой работы у нас нет, — сказал Сорокин.

— Значит, мне надо уходить, — заключил я.

Калипа подняла на меня глаза и печально вздохнула.

— Я бы, Кемель, уступила тебе свое

место, а сама бы села на повозку, но ведь ты не пойдешь...

Это прозвучало неожиданно. По доброте ли своей или оттого, что она почему-то постоянно испытывала неловкость за Абакира, вроде бы стыдилась, когда он кричал и ругался, и всегда старалась чем-нибудь смягчить, сгладить его грубость, — потому ли или нет, но она это сказала, а я сгоряча, не подумав, брякнул:

— Пойду!

В юрте стало совсем тихо. Только костер потрескивал с тонким посвистом.

Все недоумевая смотрели на меня. Может быть, люди ждали, что я одумаюсь, откажусь?

Получалось так, что я сам лез в лапы человеку, который ненавидел меня и не желал мне ничего доброго. Но я промолчал. Сказано — сделано. Сорокин еще раз испытующе посмотрел на меня.

— Это точно? — коротко спросил он.

— Да.

— А мне все равно! — Абакир плюнул в костер. — Но предупреждаю: чуть что — надаю по шее! — И глаза его холодно блеснули в полутьме с усмешкой и вызовом.

— А что — чуть что! Что ты заранее угрожаешь? — не выдержал наконец все время молчавший Эсиркеп. — Справится, подумаешь, премудрость какая! Он на моем плуге работал.

— А тебя не спрашивают. Не лезь не в свое дело. Сами поглядим. Я отвечаю за трактор, за работу...

— Прекрати! — снова недовольно обор-

вал Абакира Сорокин и сказал мне: — С утра принимайся за работу.— Он поднялся и шагнул к выходу.—А теперь отдыхать пора...

В эту ночь я почти не спал. Как все сложится у меня с Абакиром? Ведь до сих пор я только время от времени сталкивался с ним, а с завтрашнего дня постоянно, днем и ночью, буду у него в подчинении. Обязанности прицепщика меня не так пугали, хотя они требуют выносливости и терпения. Конечно, надо приноровиться точно и быстро поднимать и опускать лемеха в нужном месте, чтобы ни на минуту не задержать движения трактора. Но ведь, кроме этого, я должен во всем помогать трактористу—и по уходу за машиной, и по ремонту. Попробуй подай Абакиру не тот ключ, не тот болт или гайку, или там еще что...

Не спала, оказывается, и Альдей. Она подошла в темноте ко мне, присела рядом, погладила меня по голове.

— Ты бы подумал, Кемель. Не пара вы с ним. Добрый ты, безобидный. Заест он тебя, не угодишь ты ему...

— А я не собираюсь ему угождать. А что заест, так мне уж не привыкать.

— Ну гляди, тебе виднее, — тихо проговорила она и, вздохнув, пошла на свое место.

3

Наш поединок с Абакиром начался с первого же дня.

— Заснешь, упадешь под ножи — отвечать не буду! — бросил он единственную фразу перед началом пахоты.

Но мне было, конечно, не до сна. Я весь был в напряжении, готовясь работать четко и безупречно. А если думать, что можно случайно угодить под ножи, то лучше было сразу отказаться.

Да, под моими растопыренными на раме ногами были укреплены на кронштейнах стальные лемеха. Они шли рядком, наискось, один за другим, вспарывая и отваливая дымящуюся дернистую толщу целинных пластов. Вдавливая полынь в землю, трактор шел, не останавливаясь, напряженно гудя и лязгая гусеницами.

Абакир ни разу не обернулся, не поинтересовался мной. Я видел лишь его упрямый, тугой затылок. Уже одно это как бы говорило мне, что Абакир будет испытывать меня до тех пор, пока я не откажусь или пока он не убедится, что я выстою. И возможно, нарочно он гнал трактор без передышки, чтобы измотать меня, заставить отступиться. Кто-кто, а уж Абакир-то прекрасно знал, что не очень это сладко сидеть на жестком металлическом сиденье, не имеющем никакой амортизации, задыхаясь от пыли и выхлопных газов. Но я не думал сдаваться. Предельно напряженные нервы, глаза, слух, руки, вцепившиеся в штурвал плуга,— вот что я собой представлял. За все время я не проронил ни слова, я молчал даже тогда, когда он с особенно злым упорством вел машину по каменистым местам, где плуг то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали по кремню, высекая искры и гарь, а меня трясло и подкидывало на сиденье. К вечеру, когда Абакир остановил трактор, я ощутил

страшную, никогда прежде не испытанную усталость. Рот, нос, уши, глаза — все было забито пылью и песком. Хотелось повалиться на землю и тут же заснуть. Но я не двинулся с места, я ждал приказаний Абакира.

— Подними лемеха! — крикнул он мне, выглянув из кабины. Затем вывел трактор из пахоты и, заглушив мотор, подошел к плугу. Наклонясь к лемехам, он ощупал острие ножей.— Менять надо, притупились. К утру чтобы было сделано! — сказал он.

— Ладно,— ответил я.— Оставь запасные ножи и отведи трактор от плуга.

Он выполнил мою просьбу и молча пошел к полевому стану. Я посмотрел ему вслед и поймал себя на том, что не только злюсь на Абакира, но и завидую ему. Идет себе вразвалку, будто и не устал вовсе. Из меня он, конечно, душу вымотал, но ведь сам-то тоже ни минуты не отдыхал. Вот ведь как умеет работать, подлец!

Я вздохнул и принялся собирать курай, складывая его охапками возле плуга. Мне нужно было развести костер, чтобы успеть за ночь сменить ножи. Собрав большую кучу, я пошел ужинать.

Родная, добрая Альдей! С каким огорчением смотрела она на меня, пока я быстро и молча ел заботливо оставленный ею бешбармак. А мне некогда было рассиживаться. Я попросил у нее фонарь, который имелся у нас на всякий случай.

— Зачем он тебе? — спросила она, подавая фонарь.

— Надо, лемеха буду менять.

— Да что ж это такое, куда это годит-

ся! — раскричалась Альдей, обращаясь к Абакиру.— Не позволю! Не дам издеваться над мальчишкой!

— А мне что, не позволяй! — огрызнулся Абакир, укладываясь спать.

— Не вмешивайся! — одернул Садабек жену.— У Кемеля своя голова на плечах.

— Ничего, мы поможем тебе, Кемель. Пошли, Эсиркеп! — Калипа поднялась, собираясь идти со мной.

— Не надо,— сказал я.— Не тревожьтесь. Я сам управлюсь.

С этими словами я вышел из юрты, освещая себе путь фонарем.

Кругом царила ночь, немая и беспредельная. Я на минуту завернул к роднику — напиться. Едва побулькивая в горловине, родник излучал спокойствие и прохладу. Он матово светился из темной, задумчивой глубины. А правда, похож на верблюжий глаз. Вспомнилась девушка-сакманщица. Я даже не успел узнать тогда, как ее зовут. Где она сейчас, эта милая девушка с челочкой?

Добравшись до плуга, я, не мешкая, взялся за дело. Поднял лемеха, насколько позволяло устройство, развел костер. И фонарь, конечно, пригодился. Я отвертывал гайки, сразу же накручивал их на болты и складывал в кепку, чтобы не растерять. Всю ночь я елозил под плугом. Приворачивать гайки было тяжело, а главное, несподручно. Они сидели в очень неудобных, труднодоступных пазах. Костер то и дело угасал. Я, словно уж, выползал из-под плуга и, лежа на земле, вновь раздувал огонь. Не знаю, сколько было времени, но я не успокоился до тех пор, пока

не сменил все ножи. А потом, как в тумане, доплелся до трактора и завалился в кабине спать. Ныли, горели во сне исцарапанные руки.

Рано утром меня разбудила Калипа. Она приехала с водовозкой.

— Радиатор я уже залила. Иди умойся, Кемель,— позвала она меня,— я полью тебе.

Она ни о чем не расспрашивала меня, и я был благодарен ей за это. Не всегда приятно, если люди жалеют тебя. Когда я умылся, она принесла мне из повозки узелок с едой и бутылку джармы. До чего же приятно было выпить кисленького квасу из жареного зерна! Это, конечно, Альдей позаботилась обо мне.

Пришел Абакир. Ничего не сказал. Да и придраться-то было не к чему. Он молча подал трактор к плугу, я его прицепил серьгой, и мы снова двинулись по полю.

Но в этот день я уже сидел за плугом уверенно. Я поверил в себя. Раз выдержал первое испытание, буду держаться до конца!

Передо мной в окошке кабины маячил все тот же упрямый, тугой затылок. Все так же, без передышки, с напряженным ревом и лязганьем шел трактор. И я все так же сидел, вцепившись в штурвал.

В полдень Абакир неожиданно заглушил мотор.

— Слезай,— сказал он.— Перерыв.

Мы молча сидели на земле, в тени трактора. Абакир покурил, раздраженно покусывая папиросу, потом снял комбинезон и рубаху и лег на свою одежду загорать. Спина у него была широкая, мускулистая, лос-

нящаяся. Мне тоже захотелось погреться на солнце. Я стянул рубашку, собираясь расстелить ее и лечь, но в это время Абакир поднял на меня хмурое разомлевшее лицо.

— Почеши спину! — приказал он и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его прихоть, опустил тяжелую голову на руки.

Я промолчал.

— Слышишь? — Он грозно передернул плечами, не поднимая головы.

— Не буду!

— А я говорю, будешь! — Он рывком подтянулся ко мне на руках.— Ну, долго я буду ждать?

Я немного отодвинулся от него:

— Ты всегда тычешь себя в грудь: я рабочий, я всех и вся кормлю... Но ты рабочий только потому, что работаешь, а душой ты не рабочий. Тебе бы баем быть.

— И был бы! А ты мне в душу не лезь! — Он неожиданно щелкнул меня по носу.

Я вскочил и бросился на него с кулаками. Абакир словно только этого и ждал. Всю свою ненависть и злобу, накопившуюся за последние дни, он вложил в страшный удар, от которого я покатился по земле. Я с трудом поднялся на колени и, не помня себя, ослепленный яростью, снова ринулся на Абакира. Почти каждый удар его сшибал меня с ног.

— Я тебе покажу, чем мой кулак пахнет! Я тебе покажу мою душу! — приговаривал он, нанося мне чугунные удары.

Но я снова и снова вскакивал и молча, остервенело бросался на него. Я все время метил ему в лицо, в его звериную рожу, а он

точно и расчетливо бил меня в живот, по ребрам, в грудь.

Вот я опять поднялся и медленно двинулся к нему. Он занес руку и, крякнув, как мясник, сплеча двинул меня кулаком по шее. Я лежал, припав к земле и прикусив губу, чтобы не издать ни единого стона.

— Лежишь, академик! Ну-ка, понюхай, чем пахнет земля! — сказал он, тяжело дыша и сплевывая кровь с разбитых губ.— Это тебе не лекции читать про каменных идолов.

Он пошел к своей одежде, истоптанной нашими ногами, и, отряхнув ее, стал не спеша одеваться с чувством исполненного долга. Но он все-таки не подозревал, что и этот бой выиграл я. Да, я оставался непобежденным, хотя и лежал на земле. Мне стало ясно, что можно и кулаками драться за правду. Я понял, что можно и нужно бить того, кто бьет тебя. Для меня это было победой...

Пока Абакир одевался, залезая в свой комбинезон, я встал, быстро оделся и занял свое место на плуге.

Трактор взревел и тронулся вдоль пашни. Все тот же упрямый, тугой затылок маячил в окошке кабины, и я был все тем же прицепщиком, вцепившимся в штурвал плуга.

4

В нашей жизни произошли кое-какие изменения. Нам привезли на машинах пароконную бричку с лошадьми для подвоза семян к пахоте. Прибыл также еще один человек — ездовой. Теперь и водовозу стало легче

управляться. На сев переключили трактор Садабека и Эсиркепа, и мы с Абакиром продолжали пахать.

И еще одна очень важная новость.

Несколько дней назад, когда мы после обеда ехали на бричке к полю, я увидел у родника ту самую девушку-сакманщицу. Я спрыгнул с брички. Ездовой придержал было лошадей, но Абакир не дал ему остановиться.

— Айда, не задерживай!— недовольно приказал он.

Я побежал к девушке, и она пошла навстречу мне, оставив своих овец. Но я так и не добежал до нее, надо было догонять бричку, чтобы поспеть к началу работы. Я остановился.

— Здравствуйте!— крикнул я.

— Здравствуйте!— ответила она и тоже остановилась.

Я очень обрадовался, что увидел ее, но решительно не знал, что сказать.

— Почему вас не видно с водовозкой, где вы теперь?

— Я теперь на тракторе!— не без гордости прокричал я в ответ.— Мы во-он на том поле! Извините, я очень спешу!

— Бегите, бегите!— Она помахала мне.

Я пустился догонять бричку. Только разок оглянулся. Девушка стояла на том же месте, глядя мне вслед. Бричка не останавливалась. Но мне бежалось легко и свободно. Я счастлив был, что она помахала мне рукой, что бегу я по вольной весенней степи...

На другой день она появилась у нашего

поля. Стояла на пригорке неподалеку, присматривая за матками с ягнятами. Мне очень хотелось подойти к ней хоть на минутку, но разве Абакир позволил бы, разве он способен на такой поступок? Я не стал просить его об этом.

В следующий раз, когда девушка появилась на пригорке, мы с Абакиром стояли возле гудящего трактора, он что-то проверял в моторе.

— Что это она зачастила? — спросил Абакир.

— Не знаю.

— А как ее звать?

— Тоже не знаю.

— Эх ты, академик! — Он насмешливо сплюнул и кинул взгляд в ее сторону. — А девка сочная...

Я глянул на него со злостью.

— Иди садись на место! — рявкнул он, и мы двинулись дальше.

Девушка тем временем перегнала овец с пригорка на открытое место, шагах в ста от нашего поля. Побежать бы к ней, посидеть рядом, поговорить, просто посмотреть на ее хорошенькую челочку...

Трактор вдруг остановился. Абакир высунулся из кабины.

— Закрепи рычаг! Иди сюда!

Я сошел с плуга, в недоумении направляясь к Абакиру. В кабину он меня во время работы не допускал.

— Садись. — Он уступил мне свое место. — Учись управлять!

Я был поражен. Такого я от него никак не ожидал. Что произошло с Абакиром, неуже-

ли он подобрел ко мне? Однако, недолго думая, я приготовился делать все, что он прикажет.

— Прижми педаль. Включи сцепление. Вот так. Теперь осторожно отпусти педаль. Держи рычаги фрикционов...

Трактор зарокотал, двинулся с места, и мы пошли вдоль загона. У меня дух захватило от радости. Я ни о чем не думал, мне ни до чего на свете не было дела. Я был поглощен одним желанием: овладеть трактором, постигнуть его механизм. Ведь я так давно мечтал об этом! И вот могучий тягач, послушный моим рукам, двинулся вперед, с лязгом забирая землю гусеницами. И сам я, казалось, превратился в механизм, сосредоточенный лишь на том, чтобы четко выполнять нужные действия.

Я неплохо развернулся в конце загона. Правда, без прицепщика на развороте остались большие огрехи. Но это не такая уж беда: мало, что ли, земли на Анархае! Зато я научусь водить трактор!

Так мы сделали несколько гонов. Сердце у меня уже не так билось, я чувствовал себя уверенней.

— Не дрейфь, академик!— крикнул мне в ухо Абакир.— Я отлучусь малость. А если что, заглушишь!..

Он спрыгнул на ходу с трактора и, отряхиваясь, прихорашиваясь, направился к девушке-сакманщице. Она была теперь совсем рядом. Тут только я понял, что он замыслил. Не без корысти, оказывается, посадил он меня в кабину.

Абакир стоял возле девушки и беспечно

разговаривал с ней. А что ему!.. Работа идет, трактор рядом, в случае чего всегда можно подбежать.

Мне не понравилась проделка Абакира. Но в то же время я был счастлив — ведь я сам вел машину! Меня так и подмывало помахать девушке из кабины, крикнуть ей что-нибудь хорошее. Эх, если бы не торчал тут Абакир! Что он там ей говорит и что она ему отвечает? Хорошо бы ей поосторожней, построже быть с ним...

Я не слезал с трактора часа полтора, пока девушка не погнала овец назад. На лице Абакира я не уловил ничего такого, что говорило бы о его успехе. Нет, ничего, кроме обычного туповато-надменного самодовольства, не выражало его лицо.

— Айда, академик, на свое место!— Он хлопнул меня по плечу и криво усмехнулся.

Я ничего не сказал и спрыгнул с трактора.

Наша девушка пришла и на другой день. Абакир опять оставил меня в кабине, а сам направился к ней. Лучше бы уж она не приходила. Бросить трактор я не мог, но и оставаться равнодушным я тоже не мог.

«Как бы предупредить ее?— думал я, бросая из кабины тревожные взгляды в их сторону.— Не надо ей встречаться с ним. Но как можно запретить людям разговаривать друг с другом? Человек сам должен понимать, с кем он имеет дело...»

На этот раз девушка быстро ушла, и я очень обрадовался этому. Все быстрее и быстрее погоняя овец, она убегала по степи, не оглядываясь. «Прости меня, милая,— мысленно посылал я ей свои извинения.—

Хорошо, что ты так быстро ушла. Но мы еще встретимся. В следующий раз я не останусь на тракторе, я побегу к тебе. А пока иди, не останавливайся, славная девушка с челочкой... Я ведь не знаю даже твоего имени...»

Но напрасно рассчитывал я на предстоящую встречу. Девушка больше не появлялась. Дня три подряд мы оба ждали ее, не говоря, конечно, об этом вслух. Абакир был злее и грубее обычного. Он опять смотрел на меня откровенно ненавидящим взглядом. Но и я теперь не скрывал своего презрения. Я понял, что он чем-то оскорбил девушку, я чувствовал свою вину перед ней, словно бы не сумел защитить ее от чего-то недоброго, темного. Я дал себе слово: при первой же возможности отыскать ее и просто, по душам, поговорить обо всем. Я стал мечтать об этой встрече, я желал этого и надеялся.

Как раз в эти дни нас застиг в поле дождь. Он наскочил стремительно и внезапно. Это был буйный степной ливень с градом. Воздух загудел, земля вмиг покрылась вспученными, кипящими лужами. Но Абакир не остановил трактор. Наоборот, он его припустил быстрее и ни разу не оглянулся на меня, а я ведь сидел под ливнем и градом.

Набухшие водой вспаханные пласты уже не отваливались за лемеха. Они распирали плуг, лезли на раму, мне на ноги. Пожалуй, Абакир вообще не остановился бы, если бы на гусеницы не налипли вязкие невпроворот комья. Тогда он заглушил мотор и закурил, развалясь у себя в кабине, наверно, полагая, что я попрошусь к нему под крышу. Но мне

теперь было все равно. Я уже промок до нитки. Я не сошел с плуга и сидел под дождем, смывая с себя грязь. Единственное, что я постарался уберечь от воды, это блокнот с кое-какими записями и выписками из прочитанных книг. Я сунул блокнот за голенище.

Дождь кончился сразу, будто его рукой сняло. И тотчас же распахнулось небо, сияющее, бездонное, прозрачной бирюзой. Оно было словно продолжением той красоты и чистоты, которую являла собой раздольная степь, омытая весенним щедрым ливнем. Беспредельные анархайские просторы раздвинулись еще шире, стали еще привольнее. Через весь небосклон пролегла над Анархаем радуга. Она перекинулась из края в край света и застыла в вышине, вбирая в себя все нежные краски мира. Восхищенно глядел я вокруг. Синее, бесконечно синее, невесомое небо, трепетное многоцветье радуги и блеклая полынная степь! Земля быстро просыхала, а над ней высоко в поднебесье кружил орел на неподвижно раскинутых, тугих крыльях. Казалось, не сам он и не крылья его, а могучее дыхание земли, ее восходящие теплые токи вознесли орла в такую высь.

И я снова почувствовал в себе силу, я тоже воспрянул духом, снова ожили во мне мечты о стране Анархай. Да, теперь я прочно стоял на земле, и никто уже не мог омрачить мои мечтания, помешать мне верить в прекрасное будущее Анархайской степи. Я не поэт, но случалось порой, что в школьной стенгазете помещали мои стишки. Вот и теперь я достал из-за голенища блокнот и сразу, вроде бы с

разбегу, написал первые напросившиеся на бумагу слова:

Лежит за Курдайским нагорьем
Веками не хоженный край,
Провьюженный снегом метельным,
Иссушенный зноем предельным —
Далекий степной Анархай.
Но быть суждено, я то знаю —
Тот день недалек, он в пути, —
Роскошной страной Анархаю,
Просторам полынной степи!

Я не думал о том, что у меня получились неумелые, корявые строки. Меня огорчало другое: они не выражали даже сотой доли того, что теснилось и бунтовало в моей душе. Я мучительно ломал голову, как сделать, как найти те единственно верные слова, чтобы высказать свои мечты так, как я их ощущал. Но тут кто-то выхватил у меня из рук блокнот. Я оглянулся.

— Любовные писульки сочиняешь!— злобно посмеивался Абакир, отходя в сторону.— Хочешь девку стихами пронять?..

— Отдай!— подскочил я к нему в негодовании.— Нехорошо читать чужое!

— А ты мне не указ: хорошо, нехорошо! У меня свое хорошо! Отцепись!

— Ах, так!— Я подбежал к трактору и схватил отвертку.

— Ну-ну!— пригрозил мне Абакир.— На, ерунда какая-то.— Он вернул мне блокнот, а спустя минуту вдруг расхохотался, заржал на всю степь.— Страна Анархай! Ха-ха-ха! Ну и дурак ты, академик! Вот таких только, как ты, и надо пригонять сюда, чтоб вы узнали что почем!.. Выдумал: страна

Анархай! Ха-ха-ха! Она еще покажет тебе, какая она есть страна! Останься тут на зиму — по-другому запоешь...

— А я у тебя не буду спрашивать, оставаться мне или нет! Ты лучше о себе подумай!

— А что мне думать?— Абакир с сумрачной усмешкой надвинулся на меня.— Моя думка со мной. Я везде свое возьму.— Он отошел было от меня, но, вспомнив о чем-то, приостановился, подошел ко мне вплотную и сказал приглушенным голосом:— А ты, академик, выкинь из головы мыслишки о ней, не рассчитывай... Пришибу!

— Это мы еще посмотрим!

— А я тебе говорю, чтоб и думать не смел!

Мне стало вдруг даже жалко этого зарвавшегося человека, обалдевшего от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью. Я сказал ему спокойно:

— Ты взрослый человек. Порой говоришь правильные вещи. Но это, видно, случайно, сослепу. Тебе надо запомнить, что никто никому не в силах запретить думать, желать, мечтать. Люди тем и отличаются от скотины, что они способны мыслить.

Не знаю, подействовали ли мои слова на него, но он промолчал. Только мрачно подошел к трактору и с силой крутанул пускач. Двигатель легко завелся, надо было снова приниматься за работу...

С этого часа я не расставался со своими мечтами. Я завоевал их, я снова обрел на них право. И они уже не покидали меня, они жили со мной.

Вечером, когда все стали укладываться спать, я вышел из юрты и направился к роднику. Меня почему-то тянуло туда, хотелось побыть в одиночестве.

Звездам было тесно на небе, и они сбегали у горизонта к самой земле. Но многие из них, а пожалуй, что и все, висевшие над головой, невероятным образом помещались в роднике, отражаясь в небольшом округлом водоеме, который казался сейчас бездонно глубоким. Они поблескивали и мерцали на воде — хоть черпай их и выбрасывай огненными россыпями на берег. Там, где бежал ручей, они уплывали вместе с ним и рассыпались осколками по каменистому дну. Но там, где вода застыла в тихой задумчивости, они были такими же лучистыми, как на небе, и я подумал, что степной родник чем-то напоминает иной раз такое состояние человеческой души, когда она светла и полна мечтами, когда она становится такой глубокой, что вмещает в себя весь окружающий мир.

Я сидел у родника, смотрел, слушал, всем существом своим ощущал, вбирал в себя ночную затаившуюся степь и по-своему преображал ее в своих мечтах. Кому бы рассказать о них, с кем бы поделиться? Трудно объяснить, почему, но она, девушка с челочкой, имени которой я не знал, казалась мне тем самым человеком. Она бы поняла меня, она бы сумела разделить со мной мои волнения. Может, это было оттого, что впервые мы встретились с ней здесь, у родника, и назвали его Верблюжьим глазом?

Где она сейчас, знает ли, что я думаю о

ней? Скоро мы закончим пахоту, и тогда я найду ее, приведу сюда, к роднику, и поведаю ей о стране Анархай. Не стихами, нет — засмеет еще! — расскажу просто, обыкновенными словами, так, как представляю себе будущую жизнь в Анархайской степи.

Собираясь уходить, я еще раз окинул взором обметанное звездами небо. Глаза радовались всему, что было доступно зрению. Но на пригорке, как всегда, стояла, смутно темнея, бесформенная глыба каменной бабы. Я представлял себе, как стоит она и сейчас, сохраняя свое полное безразличие ко всему, вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд своего единственного глаза.

Взошла луна, и я заметил две осторожные тени, которые двигались по ту сторону распаханного клина. Это были джейраны — степные косули. Куда они шли? Пожалуй, к водопою. Джейраны подошли к самому краю поля и остановились как вкопанные, не осмеливаясь вступить на непривычно взрыхленную, отдающую нефтью и железом землю.

Они долго стояли так, не шелохнувшись, слегка посеребренные лунным светом. Самец — с ветвистыми рожками и самка — пониже в холке, с крупными, поблескивающими в темноте глазами. Она прильнула к самцу, как и он, настороженно вскинув легкую голову. Так и стояли они, объятые оцепенением. Весь вид их выражал вопрос и страх: «Что случилось со степью? Куда девалась старая тропа? Какая сила разворотила землю?»

Джейраны так и не посмели пройти по полю. Они повернули и бесшумно пошли назад, унося на гибких спинах грустный отсвет лунного серебра.

Я посидел еще немного, чтобы джейраны могли спокойно удалиться. Потом вернулся в юрту, отыскал впотьмах свое место и долго еще лежал с открытыми глазами.

И тут я услышал шепот. Абакир и Калипа лежали вместе. Возможно, и раньше бывало так, но я этого не знал. Калипа, всхлипывая, говорила что-то, только я не мог разобрать что.

— Ну перестань, хватит,— сонно пробормотал Абакир.— Вот поедем в город и там все уладим. Полежишь денька два... Чего зря убиваться?

Калипа ответила с горечью:

— Не из-за этого я убиваюсь. Ненавижу себя, презираю... За что полюбила такого человека, как ты? Что я в тебе нашла, не пойму... Хоть что-нибудь хорошее сделал ты людям? Нет же, как собака привязалась...

— Жалеть не будешь. Кончим работу — увезу.

— Нет, буду жалеть. Знаю, что каяться мне всю жизнь. И все-таки поеду. Не хочу одна оставаться...

— Да тише ты! Ложись поближе. Ну, давно бы так, а то... Намочила вон всю подушку.

Я укрылся с головой. Хотелось поскорее уснуть, чтобы не слышать этот огорчивший меня разговор.

5

Солнце с каждым днем припекало все жарче и жарче. Чаще стал наведываться Сорокин. Надо было спешить — сроки поджимали, земля пересыхала. Нам оставалось пахоты еще дней на пять, столько же оставалось работы сеяльщикам.

Сорокин говорил, что с осени будем взметывать зябь, а на следующий год сюда пригонят много тракторов и построят здесь РТС. У Сорокина все было рассчитано. Он неустанно кружил по степи, по ее урочищам, балкам и лощинам. Он не просто знал ее — она вся умещалась у него в голове, изученная до последней песчинки.

Пора было уже отказаться от завоза кормов на машинах и самолетах, как это нередко случалось на Анархае в тяжелые зимы. И Сорокин знал, как этого добиться.

Мы с Абакиром пахали теперь до поздней ночи. Ночевали в поле и с рассветом снова принимались за дело. Работа была настолько тяжелой, что Абакир оставил меня в покое. Казалось, он не замечал меня, не обращал на меня никакого внимания. Но глухая, затаенная неприязнь ко мне все еще жила в его угрюмых глазах. А мне от этого было не хуже. Я делал свое дело и жил своими мечтами. Я ждал дня, когда пойду к чабанам, в урочище за холмом, и разыщу там девушку с челочкой.

В эти дни мы начали распахивать новый большой клин. Всегда приятно приступать к чему-то новому, когда ты занят желанным, приносящим удовлетворение делом. Еще в

школе я любил писать с новой строки, на новой чистой страничке. Я любил бегать утром по нетронутому снегу, первым оставляя следы. Я любил ходить весной в предгорья за первыми, еще никем не виданными тюльпанами. Есть что-то в этом захватывающее, манящее новизной и свежестью. Здесь, на Анархае, новая борозда на непочатом поле была для меня первой строкой, нетронутым снегом и несорванным тюльпаном.

Я сидел на плуге и любовался тем, как лемеха подо мной режут первую борозду. Настойчиво врезаясь в толщу земли, отполированные до нестерпимого блеска лемеха мягко и легко отваливали пласты.

Из-под крайнего лемеха вдруг что-то блеснуло, словно рыбка метнулась на волне пласта, вспыхнуло огнем в зеркале лемеха и сразу юркнуло в борозду. Я одним махом спрыгнул с плуга, бросился к тому месту и вытащил из земли тяжелый металлический обломок удлиненной формы. Это было что-то такое красивое, я был так восхищен, что от радости вскинул руки и крикнул:

— Золото!

Абакир оглянулся на мой крик, остановил трактор и сразу спрыгнул на землю.

— Ты что там нашел?

— Золото! Смотри, Абакир, золото!

Он направился ко мне сначала медленно, а потом заспешил. Я протянул ему на ладони эту золотистую, красивую вещь.

— А ну! — Он недоверчиво взял в руки мою находку и, разглядывая, потер ее о рукав. — Да откуда ему быть здесь, золоту? — проговорил он подавленным голосом, блед-

нея при этом, как от внезапно нахлынувшего страха.— Не может быть,— с усилием усмехнулся он, выколупывая ногтем землю из зазубринок, и, не глядя мне в глаза, с явным неудовольствием вернул обломок.

— А почему бы нет!— запальчиво возразил я.— Смотри, какой тяжелый, в нем граммов восемьсот. В двенадцатом веке здесь жили монголы, а перед тем как прийти сюда, они захватили Китай и вывезли оттуда много золота. Вот так оно могло попасть и сюда!— Я говорил это потому, что мне очень хотелось, чтобы моя находка оказалась золотом. Увлеченный этим желанием, я продолжал фантазировать, убеждая в своей правоте и себя, и ошеломленного, ошарашенного Абакира.— Ты знаешь, сколько веков оно пролежало под землей? Другой металл давно бы съела ржавчина, а это сохранилось, потому что чистое золото. Тут, на Анархае, когда-то сталкивались племена кочевников. Знаешь, какие тут бывали побоища! Ханские мечи ковались в те времена с золотыми рукоятками. Этот обломок и есть золотая рукоять ханского меча. Вот возьми сам — видишь, как удобно держать.

Абакир взял обломок, подержал его, взвесил на руке.

— Хоть и не золото, а надо показать знающим людям, просто для интересу!— Он положил обломок в карман.— Ты его можешь выронить с плуга-то. Пусть у меня полежит.

— Ну, ладно,— согласился я.

Абакир пошел к трактору, поглаживая отяжелевший карман.

Мы двинулись дальше. Я думал о том, как отвезу свою находку учителю Алдиярову на память. У него собрано много таких вещиц. И он, конечно, расскажет в связи с моей находкой что-нибудь интересное. Потом я устал и забыл про свое золото. Меня донимало неравномерное движение трактора. Как-то странно вел сейчас Абакир машину: то нерешительно замедлял ход, то рвал с места, оглушая меня ревом мотора. Черный дым вырывался из выхлопной трубы и ложился мутным, чадным облаком на пашню, лез под плуг и лемеха.

Так проработали мы до конца дня. Солнце село, но было еще светло. Абакир несколько раз оглядывался через плечо из кабины, бросая на меня какие-то неопределенные взгляды. Но вот он остановил трактор.

— Иди сюда!— Он махнул мне рукой.

Я поднялся в кабину. Абакир был бледен, глаза его растерянно бегали. Утирая пот со лба, он сказал сквозь шум мотора:

— Докричаться не было сил. Ты иди установи рычаги, а потом возвращайся, садись поводи сам немного. Нездоровится мне, плохо что-то. Я пройдусь по воздуху, может, полегчает...

— Иди, иди!— ответил я.

Пока я сбегал к плугу и вернулся, Абакир уже сошел на землю. Он весь как-то сразу потускнел, точно бы слинял. Молча побрел он в сторону, сильно ссутулившись.

«Да он, кажется, тяжело заболел. С животом, наверное, неладно, вон как схватило»,— подумал я и, включив сцепление, тронул трактор с места.

Трактор пошел ровным, напряженным ходом. Опять он был подвластен моей воле. Как и каждый раз, я волновался, стараясь точно управлять машиной. Я развернулся в конце загона и пошел в обратную сторону. Сумерки уже опускались на землю, потянуло прохладой. «Еще два круга, надо включать фары»,— подумал я, вглядываясь перед собой. Впереди, вдоль косогора, кто-то быстро удалялся. Достигнув седловины, человек сбежал вниз и скрылся. Я увидел только его спину. Это был Абакир. Что с ним? Куда он побежал? Должно быть, увидел что-нибудь. Доехав до середины поля, я высунулся из кабины и привстал на минутку, но Абакира не увидел. Куда он делся? Ведь он же болен. Странно. Я остановил трактор и перевел мотор на малые обороты.

— Абаки-ир!— крикнул я.— Абаки-ир!

Он не отзывался. Тогда я вовсе заглушил мотор, чтобы было слышнее.

— Абаки-ир! Где ты? Отзовись!— кричал я в степь.

Но затененные, предвечерние увалы молчали.

А вдруг ему плохо? Мне представилось, что он, скрючившись, валяется на земле и не может разогнуться. Я спрыгнул с трактора и во весь дух пустился бежать. Перевалил седловину, огляделся. Никого нет. Взбежал на высокий пригорок и отсюда увидел Абакира, уходящего по равнине. Он был уже далеко.

— Абакир! Куда ты?— кричал я, но он не оглядывался, а вскоре и вовсе исчез из глаз, словно провалился сквозь землю.

Я постоял еще немного и нерешительно повернул назад. В небе бледными пятнами меркли последние отсветы заката. Хмурая тьма ложилась на холмы и равнины.

Я шел смятенный и растерянный. Странной, непривычной вдруг показалась мне эта притаившаяся, грустная тишина. Словно бы степь прислушивалась к моим шагам, к моим мыслям. А думал я об Абакире. Когда я рассказывал о том, что в этих краях на самом деле было, он издевался надо мной, не верил. А тут, когда я нафантазировал с этим злосчастным золотом, он голову потерял... Нет. Такие голову не теряют! Он, видно, это давно задумал и даже поговаривал об этом, да только так, вроде бы стращал Сорокина. Ведь всех он тут ненавидел, со всеми перессорился, передрался. А Калипа? С ней-то больше всего ему хотелось развязаться. На кой черт она ему, беременная, с ее любовью! И все-таки за неделю до получки он бы не убежал. А так, что ему — вчера получил денежки, и немалые, он их никогда в юрте не оставлял, всегда держал при себе, значит, задарма немного поработал, всего денек, да и находка вдруг окажется золотом...

Мои думы прервал голос Калипы:

— Абаки-ир! Кемель! Где вы?

Она привезла нам в бидонах воду для ночной работы.

— Куда вы подевались? — тревожно встретила меня Калипа.— Жутко стало. Жду, жду, трактор стоит, а самих нет!

Что было мне ответить ей? Сказал правду:

— Абакир ушел. Бросил работу.

— А... почему... зачем? — запинаясь, спросила она.

— Не знаю.

Про золото я умолчал, мне было стыдно за Абакира.

— Значит, ушел?.. — Помолчав, она рванула с повозки бидон и тяжело опустила его на землю. — Зачем же вожу я эту воду? — растерянно проговорила она, ни к кому не обращаясь.

Я понес бидон к радиатору, а Калипа прислонилась лицом к кабине и горько заплакала.

Мне стало не по себе. Я не знал, как утешить ее.

— Может, еще вернется, — неуверенно пробормотал я, обернувшись к Калипе.

— Да не о нем я, — всхлипнула она и резко повернула ко мне мокрое от слез лицо. — Верила, мечтала! А во что верила? О чем мечтала? — выкрикнула она вдруг с такой томительной, звенящей силой, что даже в пустой степи ей отозвалось стонущее эхо. — Думала, парень работящий, думала, отойдет в нем зло. Добром, любовью хотела отогреть его душу. А он? Да что уж там говорить... Лошадь тоже работает, а только человек — он и есть человек, душа в нем прежде всего. Тогда и работа — счастье, тогда и делу есть смысл... А он, он не понял ничего. Какой был, такой и ушел. Обидно мне, если бы кто знал, ох как обидно!

Я молчал, подавленный и удрученный. Мне было жалко Калипу, больно за нее. Не понимал я, как могла она полюбить такого человека... Но если бы Абакир знал, если

бы понимал, какое истинное счастье потерял он сегодня, уйдя от Калипы, то не она, а он завыл бы, как волк в зимнюю стужу.

Калипа села в повозку и молча уехала.

Спокойно спала Анархайская степь. Откуда-то издали, колеблясь и перекатываясь по метелкам полыни, донесся понизу чуть слышный паровозный гудок. Может быть, Абакир уезжал уже, подцепившись к товарняку?.. Ну и катись, сволочь, туда тебе и дорога! Не пропадет Анархай, и мы без тебя обойдемся...

Больше я о нем не хотел вспоминать. Надо было приниматься за дело. Я долго бился, пока трактор не затарахтел, пугая ночную тьму. Я сел в кабину и включил фары.

Теперь я был за все в ответе. И мне вдруг очень захотелось, чтобы рядом со мной оказалась сейчас моя милая девушка с челочкой и чтобы она поверила мне, что будет, будет в этой дикой полынной степи прекрасная страна Анархай.

1956 год

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

«В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев,— говорится в повести «Первый учитель»,— но эти тополя особенные — у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады... Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение».

Не в том ли «тайна» и писательской судьбы самого Чингиза Айтматова, автора этих строк, большого успеха его книг у читателей не только нашей страны, но и у читателей других стран, что его творчество тоже «открыто всем ветрам» современности и чутко отзывается на происходящее вокруг?

Первый рассказ двадцатичетырехлетнего прозаика был напечатан в 1952 году, не прошло и десяти лет, как повесть «Джамиля» завоевала ему прочное признание. В 1963 году писателю за повести «Первый учитель», «Тополек мой в красной косынке» и «Джамиля» была присуждена Ленинская премия.

Чингиз Айтматов смело изображает сложные и трудные жизненные ситуации, драматические конфликты, которыми так богата героическая история нового социалистического общества, рождавшегося и укреплявшегося в жестокой борьбе с врагами, с нищетой, косностью и отсталостью, с предрассудками и пережитками, унаследованными от прошлого.

Вот прежде безответно смирявшаяся перед мужем Сеиде находит в себе силы порвать с ним, когда он оказывается предателем, трусом, шкурником («Лицом к лицу»).

Еще более глубинным драматизмом отличается повесть «Джамиля».

Идет война, все усилия людей направлены на отпор врагу.

«Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить... И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его... Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или солдатки, у которых такие дети, как я».

В этом описании будничного труда тех лет, кажется, олицетворена огромная тяжесть, которую вынес народ в годы войны. А упоминание о том, что мать солдата держит письмо с фронта «так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет», заставляет ощутить всю непрочность человеческой судьбы, когда каждая полученная весточка может оказаться последней.

И вот в эту пору Джамиля уходит от мужа-фронтовика, покидает семью, где к ней были добры и снисходительны.

Весь аил потрясен ее поступком. Уйти из хорошей семьи, отказаться от прекрасной свекрови, от такого мужа! Правда, в письмах Османа, похожих одно на

другое, «как ягнята в отаре», имя жены упоминается лишь под конец, мимоходом, но какое это имеет значение? «Женское счастье — детей рожать да чтоб в доме достаток был».

Джамиле мало такого счастья! Ее поступок, кажущийся односельчанам кощунством, безумием, знаменует собой ее рождение как человека, ощутившего свое право на подлинное счастье и способного во имя этого пойти против нерушимых, казалось бы, обычаев.

Любовь Джамили к Данияру — не прихоть, не бегство от окружающего трусливой или изголодавшейся по ласке женщины. Да и в ее избраннике нет ровно ничего от лихого джигита, запросто покоряющего женские сердца, хотя рядом с нелюдимостью и застенчивостью в его душе живут гордость и высокое чувство собственного достоинства.

Подобно окружающим, Джамиля относилась к Данияру лишь с добродушной снисходительностью, но когда он с честью вышел из тяжелого испытания, подстроенного шутниками, когда Джамиля услышала его песни и почувствовала, какая прекрасная у него душа, она по-новому увидела этого человека.

Сурова и целомудренна обстановка, в которой рождается любовь Джамили и Данияра. Их руки впервые встретились, когда они вдвоем стаскивают тяжелый мешок, а стыдливым «признанием» Джамили было предложение выстирать Данияру гимнастерку, высказанное «с бессильной, вымученной досадой».

«...она разложила ее сушить,— вспоминает рассказчик,— а сама села подле и долго, старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце проношенные плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно».

Писатель тонко использовал то, что повествование ведется от лица подростка, который сам чуточку влюблен в Джамилю и по-детски непосредственно и чутко

улавливает необычность и чистоту чувства Джамили и Данияра.

Герой повести «Первый учитель», демобилизованный красноармеец Дюйшен организовывает первую школу в глухом аиле в самом начале двадцатых годов. Он встречается с недоверием тех, чьим детям хочет передать собственные, пусть далеко не совершенные, познания, встречается с глумлением и враждебностью баев, еще чувствующих себя хозяевами жизни.

Десятилетия спустя любимая его ученица поражалась тому, «как он мог отважиться на такое поистине великое дело».

Но ведь решимость и беззаветный энтузиазм Дюйшена — органически близки тому порыву, каким жили в нашей стране миллионы людей, воплощавшие в жизнь ленинские планы социалистического строительства.

Дюйшен во многом наивен, неопытен, не сдержан и в чем-то напоминает своей порывистостью и непримиримостью русского коммуниста Нагульнова из шолоховской «Поднятой целины». Но при всех своих промахах «первый учитель» заражает своим энтузиазмом, смелостью, благородством, когда вступает в опасную и неравную борьбу с противниками.

Он горько сокрушается, что никогда в жизни не видел Ленина. Но когда старый крестьянин Картанбай рассуждает после смерти вождя о том, что «Ленин в народе самом остался»,— эта убежденность основывается и на том, что нечто завещанное Лениным уже проявляется в жизни глухого киргизского аила, хотя бы в деятельности и поведении Дюйшена.

В ту пору, создавая первую поэму об Ильиче, Маяковский писал:

Он
к товарищу
милел
людскою лаской.

Он
к врагу
вставал
железа тверже.

Так и Дюйшен проявляет жестокость и непримиримость ко всему, что враждебно новым жизненным началам:

«— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах».

И тот же Дюйшен на руках переносит детей в школу через зимний ручей, не останавливается ни перед какими лишениями и трудом — лишь бы можно было учить ребят, жертвует своей любовью к Алтынай, боясь помешать ее большому будущему, которое чутко угадывает.

Героизм учителя с поразительной силой проявляется, когда он избавляет Алтынай от грозившей ей судьбы — навсегда остаться рабыней мужа-бая, сделаться похожей на свою предшественницу, встреченную в байской юрте: «Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста».

Как бы преддверием, прообразом этой отчаянной борьбы за спасение девушки служит эпизод, когда на одинокого всадника в степи нападают волки и Дюйшен рвется в одиночку сразиться со стаей хищников, терзающих загнанную лошадь. Такой же жертвой чуть не стала Алтынай, проданная родными в жены. Учитель едва не погиб сам в стычке с двуногими волками, но все же вырвал из-под власти бая свою ученицу.

«Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее? — бросает он насильнику на прощанье.— ...Врешь, прошли твои времена, теперь ее время...»

Спустя много лет туповатые и самодовольные люди посмеивались над тем, что были времена, когда Дюйшена «всерьез считали... учителем». На самом деле его школа и впрямь послужила для многих прекрасной стартовой площадкой.

«С бугра, где стояла наша школа,—вспоминает Алтынай,— открывался глазам прекрасный мир весны».

Да, поистине весенний мир, дали будущего открывались глазам детей и подростков, понявших из страстных речей Дюйшена, что настало новое время — их время.

Писатель не побоялся рассказать трудную правду о дальнейшей судьбе «первого учителя», для которого школа «на бугре» оказалась высшей жизненной точкой.

Пожалуй, именно с этой повести Чингиз Айтматов достигает того бесстрашия реализма, которое так привлекло читателей к его новым произведениям.

Минувшее время, огромный исторический опыт, накопленный советским народом, подсказывал ему, как и другим выдающимся советским писателям, все более глубокое проникновение в суть окружающей жизни и человеческих характеров.

Его проза закономерно вбирала в себя и славные традиции родной киргизской литературы, и достижения советской многонациональной литературы, и опыт других искусств.

Так повесть «Прощай, Гульсары!» связана определенной идейно-художественной преемственностью не только с «Холстомером» Льва Толстого, памятным всем с детства, но и с наиболее значительными произведениями современных русских прозаиков, писавших о деревне в 50—60-е годы,— В. Овечкина и Е. Дороша, В. Тендрякова и С. Залыгина.

Немало дал писателю и опыт активной работы в кино. Если еще до этого в прозе Ч. Айтматова было что-то от современного киномонтажа (так, в «Джамиле» описание напряженнейшей работы грузчиков сменяется картиной ночной степи, мокрых серебристых камней брода, по которым цокают копыта), то участие в создании фильмов «Зной» и в особенности «Первый учитель» несомненно обогатило изобразительный арсенал писателя, в чем-то обусловило больший драматизм его новой повести.

Судьба коммуниста Танабая и выращенного им иноходца Гульсары прослежена автором на протяжении послевоенных лет, когда деревня еще только налаживала нормальную жизнь. С большой горечью описано столкновение героя, все силы положившего на то, чтобы справиться с трудностями в своей чабанской работе, с чиновничьим подходом к делу.

Глубина и острота мыслей и чувств Танабая определяется не только тем, что он на какое-то время становится жертвой несправедливости, но и тем, что происходящее заставляет его сурово проанализировать свои собственные поступки, опрометчивые действия, принять на себя часть вины за беды родного колхоза.

Сильно взволновала читателей и, почти как все книги этого писателя, вызвала бурные споры повесть «Белый пароход». Некоторые выражали сомнение, стоило ли рассказывать о столь нелегкой судьбе мальчика на глухом лесном кордоне, где самодур и взяточник Орозкул забрал власть над всеми и только сам герой не покорился ему, да и то ценой собственной жизни.

Но вспомним про «тайну» тополей, которые «отзываются на малейшее движение воздуха», каждый листик которых «чутко улавливает легчайшее дуновение»!

Разве лучше было бы, если бы Чингиз Айтматов, чтобы нас не огорчать, умолчал о том, что алчное властолюбие, невежество, корысть еще встречаются в

нашей жизни, пусть даже потесненные ею в дальние, глухие закоулки, и что это зло порой мертвой хваткой вцепляется в человеческие судьбы?

При чтении повести вспоминаются давние строки военной поры:

На печальном том задворке,
У покинутых дворов,
Держит фронт Василий Теркин,
В забытьи глотая кровь.

Вспоминаются недаром, ибо маленький герой повести, несмотря на свою мягкость и чувствительность (а в чем-то — как раз благодаря им!), и впрямь «держит фронт» против самодура и негодяя.

Держит наш с вами, читатель, «фронт», держит даже тем, что уходит из жизни, не приемля всеобщего на кордоне подчинения человеконенавистнику и властолюбцу, который уже зарится на куда более обширное «поле деятельности»: «Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог... Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ».

«...Ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа, — прямо обращается писатель к мальчику в эпилоге. — И в этом мое утешение».

Только в мечтах своих мальчик одерживает полную победу над Орозкулом. В наших силах одержать ее в действительности, чтобы никогда и нигде не услышать укоризны: «Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам?»

Затем и рассказал Чингиз Айтматов эту драматическую историю, чтобы мы над ней задумались, а живые, реальные орозкулы услышали в ней тот же непримиримый, гневный голос, каким говорил с врагами «первый учитель».

А. Турков

СОДЕРЖАНИЕ

Айтматов Чингиз.

А36 Повести / Пер. с кирг. Послесловие А. Туркова. М.: Худож. лит., 1979, 335 с.

В сборник вошли повести «Первый учитель», «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз», за которые Чингиз Айтматов был удостоен Ленинской премии. Послесловие А. Туркова знакомит читателя с творчеством выдающегося советского писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии. Книга предназначена для старшего школьного возраста.

70303-447 **С(Кирг)2**

А ———— БЗ-37-13-79

028(01)-79

Чингиз Айтматов

ПОВЕСТИ

Редактор *Т. Блантер*

Художественный редактор
И. Сальникова

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры

Л. Лобанова, И. Филатова

ИБ № 1556

Сдано в набор 30.03.79. Подписано к печати 24.08.79. Формат $70 \times 90^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. 12,254 усл. печ. л. 12,044 уч.-изд. л. Заказ 490. Тираж 500 000 экз. Цена 35 к. Издательство «Художественная литература». Москва, 107882, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.



35 к.